П. Е. ЩЕГОЛЕВ

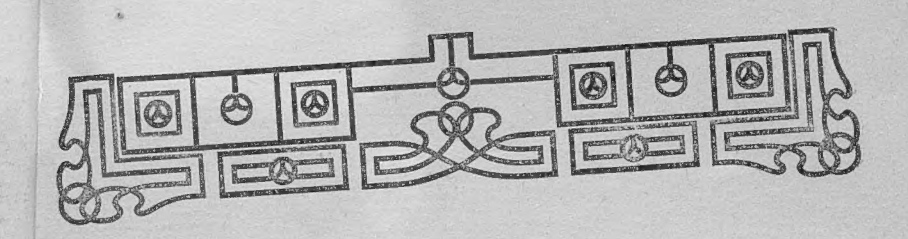
ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ КАХОВСКИЙ



ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1921.

Р. В. Ц. Петербург.
Гиз. № 620. Отпечатано 25.000 экз.

...инская, 26.



Когда думаешь о декабристах, внимание мучительно и настойчиво тянется к тем пяти, «кои, по жесткому выражению протокола Верховного Уголовного Суда, по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов, вне сравнения с другими», — к тем пяти, чья жизнь оборвалась 13 июля 1826 года на виселицах Петропавловской крепости. Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский — вот кого смертный жребий выделяет из массы декабристов, но и до сих пор мы не можем сказать, что мы знаем их, умеем нарисовать их нравственный образ, понимаем всю сложность психологических мотивов их жизни и деятельности. Правда, у нас есть до известной степени определенное представление о крупнейшей личности политика и революционера Пестеля, о поэте и энтузиасте гражданине Рылееве, о вожде военного восстания Муравьеве, о его друге и помощнике, находящемся в непрерывном нервном возбуждении, Бестужеве-Рюмине; но одно имя из этих пяти не вызывает в нас никаких ассоциаций, никакого определенного представления. Это — Каховский. И когда мы смотрим на его портрет, каким-то чудом дошедший до нас, мы видим чужое нам лицо, и черты портрета не согреваются огнем интимного знакомства, не воскресают.

Странная судьба, странное молчание! О нем, повешенном, декабристы, оставившие свои воспоминания, говорят одну-две незна-

чительных фразы, а вспоминая о Рылееве, С. Муравьеве, Пестеле, они возвышаются иногда до настоящего пафоса. Каховский—какой-то чужой, неизвестный им человек! Он чужд им и физически—до смешного. Они не знают его настоящего имени. Даже добросовестный Розен в своих записках последовательно называет его Петром Андреевичем Каховским, а он был Петр Григорьевич.

Но у нас есть драгоценные материалы для характеристики П. Г. Каховского—его собственноручные признания в следственной комиссии, его замечательные письма из крепости к имп. Николаю I и, наконец, многочисленнейшие показания о нем, сделанные его товарищами. На основании этих данных мы попытаемся набросать облик революционера-романтика и рассказать его судьбу [1].

Личность. — Миросозерцание.

Скудны данные о внешней жизни Петра Григорьевича Каховского.

По формулярному списку, составленному в 1821 году, он — «из дворян Московской губернии, в коей за ним состоит 230 душ крестьян». Но сам Каховский сообщал комиссии в 1826 году о том, что «после смерти родителей его ему с братом досталось 30 душ крестьян в Смоленском уезде Смоленской губернии; это имение в казне не заложено, а лежит на нем партикулярный долг» [2]. После осуждения, правительство собрало все сведения о родственниках, имениях и капиталах осужденных декабристов. О Каховском в его распоряжении оказались следующие данные. «Родной брат его отставной капитан-лейтенант Никанор Каховский проживает Велижского повета в имении генеральши Марковой и находится в болезненном положении и хотя имеет во владении своем Смоленской губернии и уезда в сельце Тифеневском имение, состоящее в 15 душах, но оно после нашествия неприятеля и по случаю неурожая хлебов в совершенном расстройстве, через что он задолжал разным людям значительным для него капиталом. После смерти брата Петра Каховского осталось имение, заключающееся в 13 душах крестьян, но оно подвержено залогу манором Гернгроссом в 6.000 руб.; и сверх того с оного имения взыскивается по заемному обязательству смоленского купца Дементия Нольчина 2.300 руб.» [3].

Немудрено, что, обладая таким незначительным состоянием и не состоя на службе, Каховский нуждался в деньгах и одолжался у Рылеева. В 1825 году он не мог даже заплатить портному за сшитое платье 295 рублей, и Рылеев за него поручился [4].

Каховский родился, по собственному своему показанию, в 1797 году. Мы не имеем никаких сведений ни о семейной обста-

новке, его окружавшей, ни о его родителях. В роковом для него году Каховский уже не имел родителей. Из родственников его мы знаем только об одном его брате. Судя по тому, что за все время производства следствия до самой казни Каховский не получил ни одного письма от родных, ни сам не написал и не имел ни одного свидания, можно думать, что его отношения к родственникам были совсем не родственны: в то время, как чуть не за всех остальных заключенных хлопотали ближние и дальние родственники, родные Каховского не проявляли никакой заботливости. По крайней мере в официальных документах мы не нашли доказательств противного, а ведомости разрешенным свиданиям и пропущенным письмам велись весьма тщательно. *Каховский не имел никаких родственных связей; он был совсем одинок.* Эта подробность имеет важное биографическое значение, и для того, чтобы понять психологию Каховского, нужно помнить о его полнейшем одиночестве, о какой-то заброшенности.

Он учился в московском университетском пансионе. Быть может, он был здесь одновременно с Владимиром Федосеевичем Раевским: последний родился в 1795 году, Каховский — в 1797 году. Н. И. Греч передает следующий интересный рассказ самого Каховского о приключениях детства. «Он был в каком-то пансионе (должно быть, университетском) в Москве в 1812 году, когда вступили туда французы. Пансион разбежался, и Каховский остался где-то на квартире. В этом доме поселились французские офицеры и с мальчиком ходили на добычу. Однажды приобрели они несколько склянок разного варенья. Должно было откупорить. За это взялся Каховский, но как-то неосторожно засунул палец в горлышко склянки и не мог его вытащить. Французы смеялись и спрашивали, как он освободит свой палец. «А вот как!» сказал мальчик и, размахнувшись, разбил склянку об голову одного француза. Его приколотили за эту дерзость и выгнали». К этому рассказу Греч присоединяет свою сентенцию: «это начало обещало многое, и он сдержал обещанное» [5]. Эпизод с французами, во всяком случае, ярко иллюстрирует одну черту в характере Каховского — *беспредельную дерзость.* Он был не только дерзок в бытовом, житейском смысле, но и дерзновенен. Мы увидим дальше, что в намерениях он зашел гораздо дальше всех декабристов и, кроме того, он был и искреннее и решительнее их. Вообще о нем можно сказать, что он действовал без оглядки и удержу. И когда он переживал всю тоску тюремного заключения, пытку допросов и признаний, забывая о пределах осторожности, он оставался верен своему характеру.

Итоги его образования казенный язык формуляра определяет так: «по-русски, по-немецки и французски читать, писать и говорить умеет, истории, географии и арифметике знает». Приходится думать, что образование Каховский приобрел не на школьной скамье, а позже. Он побывал и за границей и внимательно пригляделся к тамошним порядкам. В письмах из крепости о недостатках русской жизни и мерах их исправления Каховский показал себя образованнейшим человеком, вполне на уровне своего века. Бросается в глаза хорошее знакомство с экономическими науками, государственным правом и политической историей. Но самые сильные доказательства своих положений он берет из материалов своего наглядного знакомства с западноевропейским бытом. На вопрос комиссии, какими науками он больше всего занимался, он отвечал: «политическими», а на вопрос, откуда появился у него вольный образ мыслей, Каховский написал: «мысли формируются с летами; определительно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства, изучая историю греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние перевороты в правлениях Европы сильно на меня действовали. — Наконец, чтение всего того, что было известным в свете по части политической, дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границею, я имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдение и книги были мои учителя».

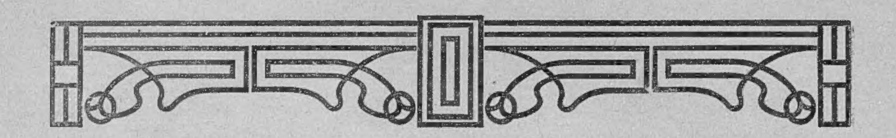
Для понимания психологии Каховского необходимо отметить в этом показании свидетельство о влияниях изучения древности. *Воспламенен героями древности* — черта, свойственная не одному декабристу. «В это время, — пишет в своих воспоминаниях И. Д. Якушкин, — мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами» [6]. Возрождение античности характеризует романтическую эпоху и идет навстречу свободолюбивому настроению. В античности искали бодрящих мотивов, подъема революционной энергии.

Возвращаясь к внешней истории Каховского, мы должны ограничиться данными формуляра. 24 марта 1816 года он вступил в военную службу, в лейб-гвардии егерский полк юнкером. Из времен его службы в л.-г. егерском полку его товарищ Новицкий сообщает следующий эпизод, который необходимо находится в биографиях всех роковых лиц. «По просьбе родных Каховского, командир 1 баталиона л.-г. егерского полка полк. Свечин приютил Каховского у себя на квартире, в одном из нумеров дома Гарновского. Я помещался с Каховским в одной комнате, скромно меблирован-

ной. Это было в Великом посту. Тогда, к Светлому празднику, гвардейские офицеры, имевшие, по большей части, собственные экипажи, заказывали себе новые, покупали лошадей, сбруи... И к полковнику Свечину пришел каретник, высокий мужчина, брюнет, с живыми черными глазами. Помню, как теперь, когда он, не застав полковника дома, вошел в нашу комнату; мы с Каховским лежали на своих кроватях: он читал книгу, я, тоже тогда юнкер, готовил урок к завтрашнему дню; было тут еще два-три человека посторонних. Каретник стоял несколько времени недвижно, всматриваясь попеременно то в меня, то в Каховского, и вдруг произнес: «Вот что я вам скажу: один из вас будет повешен, другой — пойдет своей дорогою» [7].

Но уже в декабре 1816 года Каховский был разжалован в рядовые и переведен из гвардии в армию; по сообщению того же Новицкого, был сослан на Кавказ в линейные баталионы за какую-то шалость. Мы не могли документально установить причины разжалованья, но можно предполагать именно «дерзость» Каховского. По предписанию командира дивизии ген.-майора Жемчужникова 7 февраля 1817 года он был определен на службу в 7 егерский полк и за отличие по службе в ноябре этого же года вновь произведен юнкером, а в январе следующего года повышен в портупей-юнкеры. В октябре он был переведен в Астраханский кирасирский полк и в этом полку получил чин: в мае 1819 года — корнета и в ноябре того же года — поручика. В походах Каховскому быть не пришлось, а в штрафах он бывал «за разные шалости в армии, по повелению великого князя Константина Павловича». Эти штрафы отличают Каховского от других декабристов, формуляры которых безукоризненны.

24 апреля 1821 года Каховский по болезни получил отставку. Из показания его перед генералом Левашовым мы знаем, что он действительно был болен и ездил лечиться на Кавказ вместе с ген. майором Свечиным; по возвращении жил некоторое время в Смоленской губернии, в своем имении. В 1823—1824 годах Каховский путешествовал за границей и в 1825 году он появился в Петербурге. В это время он собирался ехать в Грецию и принять участие в борьбе за освобождение греков.



Каховский был сыном своего века. Если бы вдруг исчезли те немногие свидетельства современников, те показания в официальном деле, по которым только мы и можем воссоздать образ Каховского, то мы не потеряли бы Каховского. Стоило бы только обратиться к литературе и поэзии, вдохновлявшей декабристов, к западноевропейскому романтизму, социальному и протестующему, к античности, возродившейся в романтических формах, и мы могли бы нарисовать образ героя, революционера-романтика двадцатых годов. Чтоб отчетливее представить себе духовную личность Каховского, необходимо исходить из гражданской поэзии того времени, из романтизма 20 годов.

Остановимся на произведениях Рылеева и Пушкина. Пламенная любовь к отечеству, благо родины, священнейшие права человека, святая вольность, свобода, гнет власти, борьба с самовластием и тиранами — вот общие места гражданской поэзии и Рылеева и Пушкина, термины, которыми пестрит чуть не каждая строка их политических стихотворений.

«Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья;
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой» и т. д.

Для блага родины должно жертвовать не только родными и близкими, но и честью.

«Любя страну своих отцов,
Женой, детями и собою
Ты ей пожертвовать готов...
Но я, но я, пылая местью,
Ее спасая от оков,
Я жертвовать готов ей честью».

Нам трудно теперь понять всю *действенность* этой пламенной любви к родине, которой пылали декабристы. И слова «пылали», «пламенный» отдают для нас каким-то риторизмом, а в то время они точно выражали переживания декабристов. Чувство любви к родине, обостренное внешними войнами, было реальной движущей силой, оно переживалось интимно и необыкновенно сильно. Оно проникало и обнимало всю психику человека и было таким же мощно действенным, как у народников — любовь к народу, у искренно верующих людей — любовь к Богу. Сейчас мы готовы употребить прозаический термин, говорить об *экзальтированности* декабристов теперь, когда понятия любви к Богу и любви к родине как-то опустели, выцвели, стали безжизненно вялыми.

Но благо родины требует и высшего самоотвержения: родина ждет своего Брута, своего Риэго. Оживают классические образцы, и имя Брута становится почти нарицательным. И в политической поэзии раздаются пламенные призывы к убийству тирана, поработителя свободы.

«Чтить Брута с детства я привык:
Защитник Рима благородный,
Душою истинно свободный».

Или:

«Они (юноши) раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги,
И в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги».

Русский Брут или Риэго должен был свергнуть тирана, уничтожить самовластительного злодея. Всем был ведом этот самовластительный злодей, и свержение его казалось подвигом высшей нравственности, необыкновенным. Ненависть к тирану вызывала стихи, полные какой-то кровожадности и в то же время силы.

«И в Цицероне мной не консул, сам он чтим,
За то, что им спасен от Катилины Рим...
О муж! достойный муж! Почто не можешь снова,
Родившись, сограждан спасти от рока злова?
Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!»

Еще ярче — у Пушкина.

«Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С свирепой радостью я вижу!
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы;
Ты — ужас мира, срам природы,
Упрек ты Богу на земле!»

И, наконец, — «Кинжал», это поразительное по силе изображения, яркости и прозрачности настроения стихотворение Пушкина. «Свободы тайный страж, карающий кинжал, последний судия позора и обиды! Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона, свершитель ты проклятий и надежд... Вышний суд тебя послал». Кинжал, как орудие вышнего суда, восстановления попранного права личности, идея, родившаяся еще в античном мире и воскресшая в конце XVIII века в Европе. К нам она перешла тогда же, и у Радищева мы находим патетические страницы о праве восстания.

И Брут, и Риэго, и Занд были героями, волновавшими людей двадцатых годов. Пушкин воспевал Занда, убийцу Коцебу, в увлекательной и дразнящей строфе:

«О юный праведник, избранник роковой,
О Занд! Твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался след в казненном прахе».

Рылеев формулировал этическую оценку:

«Но тот, кто с сильными в борьбе
За край родной иль за свободу,
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу,
Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден».

Литература и поэзия питали пылкий патриотизм, будили мечты о благе родины, о святой вольности, о сладкой свободе. Чудилась борьба с тиранами и поработителями, открывалась возможность подвига, беспредельно дерзновенного. Когда друзья

отговаривали Якушкина от цареубийства, он говорил: «если в самом деле ничто не может быть счастливее для России, как прекращение царствования императора Александра, то вы отнимаете у меня возможность совершить самое прекрасное дело» [8]. Чувствовалось какое-то безумное влечение к дерзновенной беспредельности. Якубович, вызывавшийся на цареубийство, впоследствии указывал на то, что побуждало его к этому акту «желание казаться необыкновенным», а самый акт представлялся «*необыкновенным, романическим*» [9].

Русская литература и поэзия не успели воплотить всех этих черт в одном герое, но пытались создать его, воспользовавшись старой темой о Вадиме. В то время, как, по изображению Екатерины II, Вадим является дерзким бунтовщиком против верховной власти Рюрика, представителя просвещенного абсолютизма, — Княжнин в своей трагедии выводит Вадима, новгородского гражданина, борца за свободу своих граждан, русского Брута. В изображении Муравьева и Жуковского Вадим является сентиментально-романтическим ревнителем национальной свободы. Для Рылеева и его товарищей Вадим является желанным героем, русским Брутом. Этот тип удовлетворял и их стремлениям к самобытности и чувству, требовавшему героя. Вадим стал своего рода паролем для радикалов Александровской эпохи, подобно тому, как Псков и Новгород были синонимами *древне-славянской свободы* [10]. Тему о Вадиме пытались обработать Рылеев, Пушкин и В. Ф. Раевский. В «Думе» Рылеева Вадим был мощным и сильным борцом за свободу, с крепкой верой в успех своего дела. Любопытен внешний облик героя...

«Страсти пылкие рисуются
На челе его младом;
Перси юные волнуются,
И глаза блестят огнем».

Вадим думает о борьбе с поработителями родины, и конечный эффект борьбы — все тот же, свержение тирана.

«Грозен князь самовластительный!
Но наступит мрак ночной;
И настанет час решительный,
Час для граждан роковой!..»

И по этим кратким литературным свидетельствам можно представить себе образ революционера-романтика 20 годов. Обратимся к характеристике Каховского на основании доступ-

ных нам материалов, и романтические черты проступят яснее и красочнее.

Когда Каховский в своих письмах и признаниях начинает говорить о любви к родине и свободе, речь его становится жгучей и возбуждающей, трогательной и красивой, и в то же время романтически эффектной. «Не о себе хочу говорить я, но о моем отечестве, которое, пока не остановится биение моего сердца, будет мне дороже всех благ мира и самого неба... Я за первое благо считал не только жизнью—честью жертвовать пользе моего отечества. Умереть на плахе, быть растерзану и умереть в самую минуту наслаждения, не все ли равно? Но что может быть слаще, как умереть, принеся пользу? Человек, исполненный чистотой, жертвует собой не с тем, чтобы заслужить славу, строчку в истории, но творить добро для добра без возмездия. Так думал я, так и поступал. Увлеченный пламенною любовью к родине, страстью к свободе, я не видал преступления для блага общего. Для блага отечества я готов бы был и отца моего принести в жертву. Согрет пламенной любовью к отечеству: одна мысль о пользе оного питает душу мою. Я прихожу в раздражение, когда воображаю себе все беды, терзающие мое отечество».

Полны истинного пафоса восклицания Каховского о свободе. Чувство свободы—изначально. Человек рожден для свободы. «Народы, почувствовав сладость свободы и просвещения, стремятся к ней. Правительства же, огражденные миллионами штыков, силятся оттолкнуть народы в тьму невежества. Но тщетны их все усилия: впечатления, раз полученные, никогда не изглаживаются. *Свобода, сей светоч ума, теплотвор жизни*, была всегда и везде достоянием народов, вышедших из глубокого невежества. И мы не можем жить подобно предкам нашим ни варварами, ни рабами. Пока будут люди, будет и желание свободы. Свобода обольстительна: я, распаленный ею, увлек других». Во имя чего звать к восстанию? Во имя свободы! ведь чувство свободы прирождено человеку. За свободу — вот лозунг, который с восторгом подхватят все. «Несправедливо говорили, будто бы при восстании 14 декабря кричали: «да здравствует конституция», и будто народ спрашивал: «что такое конституция? Не жена ли его высочества?» Это—забавная выдумка. Мы очень знали бы заменить конституцию законом и имели слово, потрясающее сердца равно всех сословий в народе: Свобода! Но нами ничто не было провозглашаемо, кроме имени Константина».

Страстная любовь к родине, воодушевление свободы, естественно, вызывали в Каховском ненависть к поработителям родины и переходили в жажду отмщения, жажду самоотверженного

подвига. В показаниях и письмах Каховский не договаривается до конца, но мы можем между строк читать о призвании Каховского и знаем о нем со слов современников. По общему признанию, он хотел и должен был быть Брутом, Зандом, кинжалом, орудием поражения тирана. Но на этом призвании мы остановимся подробнее, когда будем говорить о роли Каховского в тайном обществе.

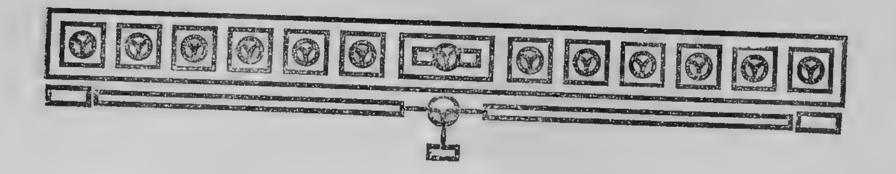
Если собрать эпитеты, присвояемые Каховскому, то со стороны следователей они исчерпываются словами «дерзкий, отчаянный, неистовый» [11], а со стороны товарищей по делу — «пылкий и решительный», «пылкая душа, второй Занд» (Оболенский); «пылкий характер, готовый на самоотвержение» (Рылеев); «готовый на обречение» (Штейнгель). Нечего говорить, что к этим чертам духовной личности Каховского нужно присоединить и ту, которая в то время называлась «истинным благородством духа».

Все эти душевные особенности Каховского были на виду у всех, но есть еще и интимные. При огромном самолюбии, он был несколько чувствителен сентиментален; романтику 20 годов нельзя было и быть без этого свойства. «Я, приговоренный к каторге, лишусь немногого; если тягостна, то одна разлука с милыми моему сердцу». У Каховского неудачно сложилась жизнь; он был одинок, заброшен; с известной долей пренебрежения относился к жизни, а разочарование, модное в то время и вполне понятное у Каховского, вызывало его и на рисовку: «жить и умереть—для меня одно и то же. Мы все на земле не вечны; на престоле и в цепях смерть равно берет свои жертвы. Человек с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями — их отнять никто не в силах»... «Мне ненужна и свобода; я и в цепях буду вечно свободен: тот силен, кто познал в себе силу человечества» [12].

И этот человек с возвышенной душой, мечтавший жить в памяти потомства, как русский Брут или Занд, был необыкновенно чуток ко всякому знаку внимания. Разбивались цепи одиночества, и его замкнутая, гордая и самолюбивая душа вдруг растворялась; он становился доверчивым и искренним и платил взрывами благодарности. Эту черту подметили Рылеев и Николай Павлович. В свое время мы узнаем, как воспользовался ею последний.

Таков был духовный человек в Каховском, но мы были бы не правы, если бы забыли в нем гражданина. При нашем трезвом отношении к романтизму, мы, пожалуй, не прочь обвинить Каховского в придуманности настроений, поверхностности, но эти обвинения были бы величайшей ошибкой. Каховский оставил письма, адресованные им из крепости к царю и генералу Левашову, члену комиссии. В этих письмах он излагает свое политическое

миросозерцание. Познакомившись с ними, мы должны будем поставить его на-ряду с самыми выдающимися декабристами; вдумчивость, наблюдательность и правильная оценка положения — вот отличительные черты его взглядов. Для полноты характеристики Каховского необходимо очертить и его миросозерцание, хотя бы кратко изложив его. Выяснение его имеет и общее значение для истории идейной стороны в движении декабристов.



Основной пункт воззрений Каховского, конечно, — уничтожение самодержавной власти и введение народного правления, введение конституции, постановительных законов. Ниже мы еще будем цитировать его горячие и страстные мольбы перед Николаем I о необходимости дать России конституцию, а сейчас перейдем к частностям в миросозерцании Каховского. Нужно отметить, что в письмах Каховского к царю и к Левашову мы не найдем систематического изложения общественных и политических взглядов Каховского: это — бессистемный ряд мыслей и замечаний, касающихся, правда, весьма многих сторон нашей общественной жизни. Наблюдения, проекты и мысли Каховского по общественным вопросам являются результатом не только теоретического, книжного изучения, но и непосредственного знакомства с жизнью русского народа и с жизнью Европы. С положением России Каховский имел возможность ознакомиться во время путешествия из Петербурга на Кавказ. Всюду он слышал народный стон и ропот. Это — не стереотипная фраза, потому что Каховский узнавал жизнь народа не из окна кибитки, а из живых сближений с представителями народа. Вопрос непосредственного соприкосновения с народом ставился и в обществе декабристов. Так, Митьков пробовал вести политические разговоры с крестьянами и «заметил в них столько здравых мыслей и истины в суждениях, что если только сообразоваться с их языком, то они скоро и легко поймут как права, так и обязанности свободного крестьянства» [13]. Каховский оставил любопытное свидетельство о своих сближениях с русским народом. Его впечатления проникнуты восторженным сентиментализмом, предвозвещающим позднейшее увлечение народом. «Хитрость и обман — свойства рабов; самое тяжкое бремя, гнетущее земледельцев наших, образовало их. Некоторым из них, чтобы сохранить для себя что-нибудь от насилия помещиков, нужно прибегать к изобретениям вымысла и хитрости. Во внутренних губерниях государства имения, принадлежащие богатым помещикам, пользуются довольною

свободою, хотя и зависят совершенно от владельцев своих, но образованное дворянство не гнетет себе подобных, и земледельцы управляются мирскими сходками. Я был на многих из сих совещаний, маленьких республик. Сердце цвело во мне, видя ум и простое убедительное красноречие доброго народа русского».

«О, как хорошо они понимают и обсуживают нужды свои! На сих сходках я в первый раз слышал изречение из Наказа Великой Екатерины. Пусть обуянные своекорыстием враги родной страны, враги добра смеются с неправильного выговора или с неловких оборотов в обращении наших добрых землепашцев; но я, без пристрастия говорю, зная народ Франции и народ России, отдаю преимущество и во правах и в образовании нашим. Пусть кто поспорит со мной: я уличу и готов доказать правду слов на самом опыте. Не лепечут наши красноречивого вздора; но в рассуждениях ум русский ясен, гибок и тверд».

С наибольшим вниманием Каховский останавливается на положении судебной части в России. Отсутствие точного и ясного законодательства, вопиющие недостатки судопроизводства его, просто расстраивали. «Постановительные непременные законы прекращают все злоупотребления в судопроизводстве. Ясность и краткость оных не допускает запутывать дела; они легко запечатлеваются в памяти и делаются известными всем; чрез них каждый знает свою обязанность, свои права и чему подвергается, не соблюдая предписанных ими правил. Мы сим похвалиться не можем; у нас указ на указе, одно разрушает, другое возобновляет, и к каждому случаю и предмету найдутся несколько узаконений, один с другими несогласные. Сильные и сутяги торжествуют, бедность и невинность страдает». Каховский умолял Николая улучшить законодательство: «Милосердный Государь. Займитесь внутренним устройством государства. Отсутствие закона – ужасный вред для нас; вред физический и моральный. Служба заменилась прислугой, общая польза забыта, своекорыстие грызет сердца, и любовь к отечеству уже для иных стала смешным чувством».

Образцом законодательства Каховскому казался кодекс Наполеона. По мнению Каховского, с небольшими изменениями этот кодекс годился бы для всех народов. Но в нем был существеннейший недостаток, который Каховский находил крайне вредным: применение смертной казни. Любопытны мотивы, по которым он считал недопустимой смертную казнь. Оставляя в стороне вопрос, содействует ли эта мера наказания прекращению преступлений, он обращал внимание на самую природу смертной казни, как наказания. «Может ли смерть быть наказанием, когда она есть необхо-

димое условие человеческого бытия, и не каждый ли из нас при самом еще рождении приготовлен к оной?» говорил Каховский и подчеркивал то, что смертная казнь не удовлетворяет целям исправления, которые преследует наказание. «Законы должны наказывать виновных, но не убивать, и в самом наказании стараться не заграждать пути преступнику к исправлению». В этом смысле Каховский считал достигающей своих целей американскую пенитенциарную систему и предлагал применить ее в России. «Благодетельное устройство тюремное в Соединенных Штатах Америки может служить и для нас и для всех народов Европы образцом. В наших тюремных острогах, где все преступления смешаны вместе, где нет никаких занятий, ни трудов, ни порядка, ни чистоты; где обитает разврат, где самый воздух душный заражен смрадом; где содержащиеся, истлевая душой и телом, питаются мирским лишь подаянием, где часто надзирающие за преступниками — преступники еще большие; в таковых заведениях, конечно, не исправится заключенный, но лишь ожесточится или развратится совершенно. Для образования тюрем, подобно как существуют они в Соединенных Штатах, нужна значительная сумма денег; можно ли их жалеть в таком случае (тем более — это единовременная издержка) и зато навсегда содержание тюремное правительству ничего не будет стоить; да и самая истраченная сумма для образования временем из трудов содержащихся уплачена быть может».

Процесс судебный, по мнению Каховского, должен быть гласным и устным, с допущением присяжных и адвокатов. Он предлагал уменьшить число судебных инстанций и ввести разделение суда, кассационного и апелляционного. В уездных городах должны бы быть учреждены два места: следственное и судебное; в губернских — уголовные палаты по образцу палат французских и английских, с присяжными заседателями; и наконец главный суд, кассационный или, как выражался Каховский, палата разбирающая. «Палате разбирающей — допустить право не решать и не пересуживать дела, а лишь разбирать, законно ли производились оные (при постановительных законах от производства зависит дело, определение законное каждому известно, ибо оно непременно); найдя упущения, возвращать дела по предмету их в уездный суд или уголовную палату, оштрафовав оные и предписав им пополнить, исследовать и перерешить». В случае несправедливых жалоб, Каховский предлагал взыскивать с просителей установленную пеню. Предвидя уменьшение гербового сбора при устном процессе, Каховский проектировал введение судебных издержек.

По вопросу о личной неприкосновенности взгляды Каховского не были подробно разработаны. Он пытался реставрировать и утвердить явно не отмененный закон: «без суда никто да не накажется», восставал против нарушения прав граждан, освященных веками. С особенным красноречием он говорил о нарушении прав личности генерал-губернаторами и гражданскими губернаторами. Он приводил в пример аресты дворян, производимые смоленским генерал-губернатором Хованским. Генерал-губернаторский институт вообще казался ему бесцельным и нелепым. Его соображения остаются верными и для нашего времени. Пользы от генерал-губернаторов нигде не видно, они тяготят лишь население лично собой, как лишней, бесполезной властью: «Если же генерал-губернаторы учреждены для нового образования присутственных мест в губерниях, то выбор сделан весьма неудачно: и отличный дивизионный начальник может быть весьма плохим генерал-губернатором».

Юридические взгляды Каховского, лишь вкратце нами изложенные, показывают, что он в вопросах права далеко опередил своих современников и во многом предвосхитил идеи судебной реформы шестидесятых годов.

В своих экономических взглядах Каховский был сыном времени. Он верно оценивал финансовое и экономическое положение России: указывал на истощение страны, вызываемое непосильными налогами, прямыми и косвенными, к тому же взыскиваемыми иногда вдвойне. Каховский находил, что «баланс потерян». Запретительная система, обилие казенных монополий являются причиной отсутствия торговли, внешней и внутренней. Считаясь с задачами фиска, правительство совершенно забывает о пользе народа. «Выгоды казны совершенно несогласны с выгодами народа. Для казны может быть полезна запретительная система, но для народа убийственна; ею он лишен столь необходимой ему внешней торговли. Все откупы прибыльны казне и очень, видимо, вредны народу. Все налоги, возложенные казной, ей прибыльны и иссушают источник богатства народного. Займы, казной сделанные в иностранных государствах, для нее выгодны; она не несет тягости долга; но для народа, уплачивающего оные — отяготительны. Скуп в портах наших звонкой иностранной монеты для нее выгоден, но отнюдь не народу. Наконец, все тарифы, таможни, гильдии, цехи полезны казне и обременительны народу. Казна все отымает у граждан, не оставляя им ничего, кроме тягости и нищеты. Жадная, ненасытная, все выгоды присваивает себе и ничем не хочет поделиться. Может ли таким образом существовать правительство, и могут ли под его тяжким бременем народы благоден-

ствовать? Правительство, удерживающее власть свою страхом, а не любовью подвластных ему народов, не может быть ни сильно, ни счастливо».

Не будем останавливаться на мнениях Каховского по крестьянскому вопросу. Он очень хорошо знал экономическое положение крестьян и оставил по этому предмету в наставление генералу Левашову подробные записки, но во взглядах по крестьянскому вопросу он не был оригинален и разделял убеждения, принятые всеми декабристами; обстоятельное изложение их взглядов читатель найдет в статье В. И. Семевского [14].

Политические взгляды Каховского покоятся на следующем положении. Самодержавная власть враждебна истинной свободе и истинному просвещению. «Народы, почувствовав сладость просвещения и свободы, стремятся к ним, а правительства, огражденные штыками, силятся оттолкнуть народы в тьму невежества». Вот смысл совершающегося исторического процесса. Но ведь не народы существуют для правительства, а правительства для народов. Отсюда — непримиримая борьба, тем более непримиримая, что при всех соглашениях народ всякий раз неукоснительно был обманываем царями. Нет договора с царями. Такова схема политических воззрений Каховского. Она создана ходом событий в Западной Европе, совершившихся перед взорами Каховского и его современников. Такие взгляды свойственны и другим декабристам, но никто из них — ни в показаниях, ни позднее в воспоминаниях — не выразил так ярко процесса отторжения власти от народа, как Каховский, и не подчеркнул с такой силой влияний западно-европейской истории на миросозерцание декабристов. Не нужно забывать и того, что Каховский рассыпал свое красноречие перед Николаем Павловичем и генералом Левашовым.

Обращая внимание читателей на письма Каховского, позволяем себе привести здесь наиболее яркую выдержку. Она даст представление о литературных талантах Каховского и познакомит нас с теми впечатлениями, которые вызывал в декабристах ход событий западно-европейской истории. Читатель не посетует на нас за длинноту цитаты.

«Предки наши, менее нас просвещенные, пользовались большей свободой гражданственности. При царе Алексее Михайловиче еще существовали в важных делах государственных великие Соборы, в которых участвовали различные сословия государства. В царствование его их было пять. Петром I, убившим в отечестве все национальное, убита и слабая свобода наша. Она сокры-

лась наружно, а жива внутри сердец граждан добрых: медленны были успехи ее в государстве нашем. Мудрая Екатерина II несколько ее распространила. Ее Величеством уже был задан вопрос Петербургскому вольному экономическому обществу: о пользе и следствиях свободы крестьян в России. Великая, благодетельная мысль обитала во сердце любимой народом государыни. И кто из русских без умиления прочтет наказ, ею данный; он один собой искупает все недостатки того времени и веку тому свойственные. Император Александр многое обещал нам; он, можно сказать, исполински двинул умы народа к священным правам, принадлежащим человечеству. Впоследствии он переменил свои правила и намерения. Народы ужаснулись, но уже семена проросли и глубоко пустили корни. Последняя половина прошлого столетия и события нашего века столь богаты различными переворотами в правлениях, что мы не имеем нужды ссылаться в века отдаленные. Мы — свидетели великих происшествий. Образование нового света, Северо-Американские Штаты своим устройством подвигнули Европу к соревнованию. Они будут сиять в пример и отдаленному потомству. Имя Вашингтона, друга, благодетеля народного, пройдет из рода в род; при воспоминании его закипит в груди граждан любовь к благу отечества.

«Революция Франции, столь благодетельно начатая, к несчастью, наконец, превратилась из законной в преступную. Но не народ был сему виною, а пронырства дворов и политики. Революция Франции сильно потрясла троны Европы и имела на правление и на народ оный еще большее влияние, чем самое образование Соединенных Штатов. Владычество Наполеона, война 1813 и 1814 годов, в которую соединились все народы Европы, призванные монархами, воспламененные воззванием к свободе и гражданскому бытию. Посредством чего собраны несчетные суммы с граждан, чем руководились войска? Свободу проповедывали нам и манифесты, и воззвания, и приказы! Нас манили — и мы, добрые сердцем, поверили, не щадили ни крови своей, ни имуществ.— Наполеон низринут! Бурбоны, призванные на престол Франции, покоряясь обстоятельствам, дали конституцию народу храброму, великодушному! И присягнули ему забыть все прошлое. Монархи соединились в Священный союз; составились конгрессы, возвестили народам, что они съезжаются для совещания о уравновешении классов и водворения политической свободы. Но скоро цель конгрессов открылась; скоро увидели народы, сколь много они обмануты. Монархи лишь думали об удержании власти неограниченной, о поддержании расшатавшихся тронов своих, о погублении и последней искры свободы и просвещения. Оскорбленные

народы потребовали обещанного, им принадлежащего — и цепи и темницы стали их достоянием! — Цари преступили клятвы свои; конституция Франции нарушена в самом своем основании: Мануэль, представитель народа, из палаты депутатов извлечен жандармами! Свобода книгопечатания утеснена; войска Франции против желания ее резали законную вольность Испании. Карл X, забыв присягу, данную Людовиком XVIII, вознаграждает эмигрантов и обременяет для того народ новыми налогами. В выборы депутатов вмешивается правительство, и в последнем выборе, в числе депутатов только тридцать три человека не состоят на службе и жалованьи короля; все прочие принадлежат министрам. Мужественный, твердый народ Испании, отстоявший кровью своей независимость и свободу отечества, спас королю и трон, и честь, им потерянную; всем самому себе обязанный, принял на престол свой Фердинанда. Король присягнул хранить права народные. Император Александр I еще в 1812 году признал конституцию Испании; впоследствии она была утверждена всеми монархами Европы. Фердинанд скоро забыл благодеяния народные, нарушил клятву, нарушил права граждан, своих благодетелей. Восстал народ на клятвопреступника; и Священный Союз забыл, что Испания первая стала против насилий Наполеона, и император Александр презрел признанное им правление, сказал, что в 1812 году обстоятельства требовали, чтоб он признал конституцию Испании. И Союз содействовал, что войска Франции обесславили себя вторжением в Испанию. Арестованный Фердинанд в Кадиксе был приговорен к смерти. Он призывает Риего, клянется вновь быть верным конституции, выслать войска Франции из пределов отечества и просит о сохранении себе жизни. Честные люди бывают доверчивы. Риего ручается кортесам за короля; его освобождают. И что-же? Какой первый шаг Фердинанда? Риего приказанием его схвачен, арестован, отравлен и, полумертвый, святой мученик, герой, отрекшийся от престола, ему предлагаемого, друг народа, спаситель жизни короля, по его приказанию, на позорной телеге, ослом запряженной, везен был чрез Мадрид и повешен, как преступник! Какой поступок Фердинанда! Чье сердце от него не содрогнется? Народы Европы вместо обещанной свободы увидали себя утесненными, просвещение сжатым. Тюрьмы Пьемонта, Сардинии, Неаполя, вообще всей Италии, Германии наполнились окованными гражданами. И судьба народов стала столь тягостной, что они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона! — Вот случаи, в которых образовались умы и познали, что с царями народам делать договор невозможно. Противно рассудку винить нации

пред правительством. ***Правительство, не согласное с желанием народа, всегда виновно; ибо в здравом смысле закон есть воля народная.*** Цари не признают сей воли, считают ее буйством, народы — своей вотчиной; стараются разорвать самые священные связи природы. Давно ли мы, русские, не смели написать и произнести слово «отечество?» В царствование императора Павла I оно было запрещено; слово «государство» заменяло его, и полковник Тарасов, не ведая запрещения, упомянув в одном письме к императору отечество, сидел за то в крепости. Я не думаю, чтобы и самые цари в глубине сердца своего не сознали себя виновными. От кого же зависит примириться им с народами: пусть дадут свободу законную, чтобы народы не стремились буйно к ней. Кровь братий драгоценна для граждан добрых; цари могут удержать поток ее, и народы благословят их.

«Мы, русские, внутри своего государства кичимся, величая себя спасителями Европы! Иноземцы не так видят нас; они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного Союза. Пруссия нами возвеличена; но пруссаки не любят нас. Они говорят: «Штыки ваши мешают взять нам обещанное, принадлежащее. Ваши военные формы, ваши приемы, ваши маневры душат нас». В последнем они не правы: Пруссии обязаны мы и прочие государства Европы страстию монархов к разводам и учению солдат. Фридрих Великий, будучи великим государем, был и страстным капралом. От него перешла страсть сия и распространилась.

«Силезия и часть Саксонии, отторгнутые от доброго правления короля Саксонского, ропщут и на нас и на правительство прусское. Ограбленное королевство Саксонское может ли быть довольно союзниками? Зарейнские области Пруссии ждут лишь удобной минуты свергнуть иго, их утесняющее. Дряхлая глыба Австрии столь ненадежна, что малейший ветр способен разнести ее. Держава, составленная из клочков разноплеменных народов, ненавидящих правление свое и не любящих друг друга, может ли быть прочной? Венцы, варвары среди просвещенной Европы, гордятся своим мнимым преимуществом и старшинством, равно ненавистны как немцам, так и иноплеменникам. Бедная, раздробленная, обнищалая Италия оплакивает горе свое и жаждет соединения. Франция еще несколько богата и счастлива, но честолюбие ее обижено, и тайное желание мщения гнетет ее. Несчастная Испания! В ней опять водворяются права святой, благодетельной инквизиции; и изнеможенный народ согбенно тащит бревна сооружать костер для своего сожжения.

«Где же, кого спасли мы, кому принесли пользу? За что кровь наша упитала поля Европы? Может быть, мы принесли пользу самовластию — но не благу народному. Нацию ненавидеть невозможно, и народы Европы не русских не любят — но их правительство, которое вмешивается во все их дела и для пользы царей притесняет народы.

«Университеты Германии довольно чувствуют и помнят Коцебу и Стурзу. Коцебу постигло достодолжное возмездие. Стурза ушел от оного; он был вызываем к оправданию университетами в Германию и не устыдился объявить, что все, им писанное, было не от него, но по повелению правительства нашего.

«Некоторое время Император Александр казался народам Европы их миротворцем и благодетелем; но действия открыли намерения, и очарование исчезло! Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и тяжкие, ржавые, железные давят человечество.

«Обманутая Англия, истощившая свои гинеи для уничтожения запретительной системы, уныльно смотрит на святой союз!

«Единоверные нам греки, несколько раз нашим правительством возбуждаемые против тиранства магометанского, тонут в крови своей; целая нация истребляется, и человеколюбивый союз равнодушно смотрит на гибель человечества! Сербы, верные наши союзники, стонут под игом бесчеловечия турецкого. Черногорцы, не дающие никому войск своих, столь усердно нам служившие во время кампании флота нашего, в Средиземном море, под начальством адмирала Сенявина, забыты, покинуты на произвол судьбы. Одинаковое чувство одушевляет все народы Европы, и сколь ни утеснено оно, но убить его невозможно. Сжатый порох сильнее действует! и пока будут люди, будет и желание свободы. Некая тишина лежит теперь на пространстве твердой земли просвещенной Европы; но кто знает, чему она предвозвестница? Не гремит оружие, но умы действуют! Народы не пошатнулись, твердо идут вперед к просвещению; несмотря на все заклепы, жажда сведений распространяется и находит источник к утолению. Строгая цензура со всеми способами полиции и таможни никак и нигде не может становить ни ввоза книг, ни внутренних сочинений. И стоит только какое сочинение запретить, то оно сделается для всех интересным и даже писанное разойдется по рукам. Во Франции запретится книга — и в самом скором времени в России она явится. Разумноженное шпионство доказывает лишь слабость правительств и что они сами чувствуют, сколь они не правы пред народами. Посредством шпионства прекращаются ли толки и суждения? Меры берутся против мер, и утончаются способы скрывать желания, действия и надежды».

Можно только удивляться поразительно меткой оценке исторических событий первой четверти XIX века. Характеристика русской публики зла и верна. Роль императора Александра I выяснена в необыкновенно резких чертах. Не нужно забывать при этом, что все это писалось для брата покойного Александра I. Верность общих соображений не подлежит сомнению и по сие время.



Русский Брут.

Миросозерцание Каховского сложилось раньше, чем он узнал об обществе. Но разве нужно принадлежать к обществу, чтоб исповедывать его миросозерцание? «Мы не составлялись в обществе, но совершенно готовые в него лишь соединялись, — писал генералу Левашову Каховский 24 февр. 1826. — Начало и корень общества должно искать в духе времени и положении, в котором мы находимся. Я с немногими членами тайного общества был знаком, и, вообще, думаю, число их не велико. Но из большого числа моих знакомых, не принадлежащих ни к каким тайным обществам, очень немногие были противного со мной мнения. Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется ста человек, которые бы не пылали страстию к свободе. И юноши, пламенея чистой, сильной любовью к благу отечества, к истинному просвещению, делаются мужами» [15].

С определенным миросозерцанием, с определенным настроением появился Каховский в столице. Он жаждал принести жертву за дело свободы. Из Петербурга он рассчитывал отправиться в Грецию и, подобно Байрону, принять участие в борьбе за греческое освобождение. Появление его было замечено декабристами. «Незаметно протекал 1825 год, — пишет Е. П. Оболенский в своих записках. — Помню из этого времени появление Каховского, бывшего офицера лейб-гренадерского полка, и приехавшего в Петербург по каким-то семейным делам. Рылеев был с ним знаком, узнал его короче и, находя в нем душу пылкую, принял его в члены Общества. Лично я его мало знал, но, по отзыву Рылеева, мне известно, что он высоко ценил его душевные качества. Он видел в нем второго Занда. Знаю также, что Рылеев ему много помогал в средствах к жизни и не щадил для него своего кошелька» [16].

Действительно, с Рылеевым Каховский был знаком уже давно. Еще в 1820 году между ними происходили разговоры об общественном служении. Сохранились датированные 1820 годом стихи Рылеева, посвященные Каховскому и написанные в ответ на стихи последнего, в которых он советовал ему навсегда остаться в Украйне. Рылеев отвечал:

«Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!
Нет, нет, тому во век
Со мною не случиться...
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир младой души,
Она меня, трубою
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собою
На берега Невы»[17].

В первых своих показаниях Каховский отрицался от продолжительного знакомства с Рылеевым, настаивая на том, что он познакомился с ним в последний приезд в Петербург в доме Глинки; но в последнем признании он заявил решительно: «я не познакомился с Рылеевым у Глинки». Завязанные несколько лет тому назад отношения упрочились на почве политических разговоров и предприятий. «Скоро я с ним, — писал в этом признании Каховский, — сошелся довольно коротко, бывал часто у него, он у меня, и всегда, при свиданиях, разговор наш большею частью был о правительстве. Согласие в мнениях нас подружило. Он открыл мне о тайном обществе, принял меня в оное и при самом принятии открыл мне и цель оного: истребление царствующей фамилии и водворение правления народного. Я с ним во всем был согласен. Он просил меня распространять сведения, стараться усиливать общество надежными и полезными людьми, сказав: «особливо старайся принимать офицеров гвардии, но будь осторожен в выборе и не открывай цель настоящую, а лишь возбуждай ненависть к правительству и стремление к свободе, до прочего каждый сам дойдет. Рисковать нам много не надо. Мне с тобой скрываться не нужно, ты сам столько же готов, как и я; ты многое узнаешь, но, пожалуйста, при приеме не открывай членов и береги общество». Я нимало не скрываюсь. Рылеев мне не сказал ничего нового. Точно я давно был готов. Он меня

не составил — через него я лишь соединился с обществом. Насчет распространения сведений, я их и без него делал».

Рылеев о знакомстве с Каховским дал 24 апреля несколько различающееся показание. «Каховский приехал в Петербург с намерением отправиться отсюда в Грецию и совершенно *случайно познакомился* со мной [18]. Приметив в нем образ мыслей совершенно республиканский и готовность на всякое самоотвержение, я, после некоторого колебания, решился его принять, что и исполнил, сказав, что цель общества есть введение самой свободной монархической конституции. Более я ему не сказал ничего: ни сил, ни средств, ни плана общества к достижению преднамерения оного. Пылкий характер его не мог тем удовлетвориться, и он при каждом свидании докучал мне своими нескромными вопросами; но это самое было причиною, что я решился навсегда оставить его в неведении» [19].

Каховский утверждает, что Рылеев с самого начала открыл ему две цели общества: водворение правления народного и истребление царствующей фамилии. Рылеев отрицал это и стоял на том, что Каховский сам вызвался быть цареубийцей.

Различие в показаниях Каховского и Рылеева объясняется тем, что ни тот, ни другой не посмели сказать всей правды до конца.

Каховский должен был бы сказать, что он, действительно, обрекал себя в жертву родине, брал на себя крайний эффект революционной энергии, обещал поразить тирана. А он до конца жизни не сказал этого: быть может, потому, что сказать это значило бы обнажить свою душу, открыть сокровеннейшие замыслы. Быть может также ему было чересчур тяжело рассказать царю, от которого он скрыл это и расположение которого — так казалось ему — он завоевал. В своих признаниях он доходил до утверждений, что он непременно выстрелил бы «по Государю», если бы тот подъехал к каре. Он даже иногда проговаривался: говоря о том, как накануне 14 декабря заговорщики умоляли его решиться на цареубийство, он высказывал удивление: «зачем меня было уговаривать, когда я сам вызвался?» Он сознавался в том, что когда ему открыли цель общества — истребление фамилии, он был согласен; и все же он не решался открыть своей инициативы, оригинальности своего замысла.

В своих ответах Каховский не один раз повторяет о своем самоотвержении, о своей готовности пожертвовать жизнью, ради блага отечества поразить родного отца, принести на алтарь любви к родине не только жизнь, а даже и честь. «Для блага общего я не видал преступления». И во всех этих фразах есть

недоговоренное: он умалчивает о крайней цели, о конечном эффекте своего самоотвержения: истреблении тирана. «Человек чем-то огорченный, одинокий, мрачный, готовый на обречение; одним словом Каховский. Он сам предложил себя на случай надобности в режициды» так характеризует его наблюдательный Штейнгель. Так он и остался в памяти всех декабристов, как режицида, как обрекший сам себя на жертву.

Не сказал всей правды и Рылеев. Он не посмел сказать того, что Каховскому с самого начала была открыта цель общества — истребление фамилии и водворение народного правления. Впрочем, эта градация, пущенная в ход Каховским, не соответствует действительности: это не две равнозначущие цели — истребление и водворение нового строя: это соподчиненные одна другой —переворот, необходимо связанный с истреблением. Каховский не случайно употребил эту градацию: она-то и могла заинтересовать его и привлечь его внимание к обществу. И нет сомнения, что, открывая ему о тайном обществе и зная его за человека, распаленного любовью к отечеству, Рылеев указал, что его «способности» найдут приложение в обществе, а мечты воплотятся. А обществу были необходимы такие люди, как Каховский. Сам Рылеев, гражданский поэт, звавший к борьбе с самовластительным тираном и воспевавший Брута, понимал необыкновенность самоотречения; и его отношение к подвигу, как поэта, шло навстречу желаниям вождя и организатора тайного общества. Но он был слишком мягкий и добрый человек, и при малейшей попытке мысленно представить воплощение идеи он сейчас же отказывался от фактического осуществления. Давая во время следствия отчет в своих отношениях к цареубийству, Рылеев по временам отказывался даже верить, что в его голове родились мысли о цареубийстве. Он все время проверял себя и менял свои показания. Его последнее признание: «дабы совершенно успокоить себя, я должен сознаться, что после того, как я узнал о намерениях Якубовича и Каховского, мне самому часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного императора не только не произведет никакой пользы, но, напротив, может быть пагубным для самой цели общества, что оно разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии и что все это совокупно неминуемо породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истреблением же всей императорской фамилии я думал, что поневоле все партии должны будут соединиться или, по крайней мере, их легче можно будет успокоить. Но сего преступ-

ного мнения, сколько могу припомнить, я никому не открывал»... У Рылеева хватило сил сознаться в том, что он думал и соображал о цареубийстве, но не хватало смелости признать, что он высказывался по этому поводу в разговорах с другими. И тут же об этих разговорах он сам сообщает!

Каховский понимал умерщвление тирана, как акт высшей нравственности; Рылеев, совершенно согласный с такой точкой зрения в своей поэзии, в жизни не мог даже представить себе убийства и, вынужденный своею ролью вождя тайного общества, смотрел на умерщвление тирана, как на акт крайней необходимости. Акт высшей нравственности и акт крайней необходимости — вот две точки зрения, исчерпывающие взгляды декабристов на момент цареубийства. На первой стоят индивидуалисты (Якушкин, Якубович, Каховский), на второй — партийные люди, организаторы общества. Но последние не разработали своей точки зрения в приложении к партийной организации: они много говорили по этому поводу, но в программу своих действий не ввели. Поэтому-то с положениями «Донесения Следственной Комиссии» об отношении общества к цареубийству никоим образом нельзя согласиться.

Идея умерщвления тирана отвечала романтическому строю души Каховского, ибо это обречение на смерть другого человека и самого себя представлялось высшим подвигом жизни. Этот подвиг поднимал на необыкновенную высоту свершителя в его собственном сознании и в мнениях других. Манило и в то же время оправдывало бескорыстие подвига, полнейшее отсутствие личных мотивов. Одним лишь благом родины мотивировался этот подвиг, и возникало ревнивое отношение ко всякой возможности истолковать, использовать это дело как-нибудь иначе. Ревность была даже по отношению к обществу: «для отечества, но не для общества». Появлялось чувство враждебного противоположения себя обществу, и самая мысль, что общество, входя в сношение с обреченным, сознательно в своих целях воспользуется этим актом, сознательно готовит себе *орудие*, казалась неизмеримо обидной и тяжелой. Ведь идея самопожертвования была украшением жизни Каховского. Он, такой «невзрачный с виду, с обыкновенным лицом и оттопырившейся губой, придававшей ему вид дерзости»; человек с неудавшейся жизнью, пролетарий, не имевший средств к существованию, одинокий, без родственных и дружеских связей, таит в себе необыкновенные богатства духа: он принесет себя в жертву родине, обнаружит неизмеримую щедрость души, заходя в своем дерзновении беспредельно далеко, дальше всех. Эти мечтания создавали мистическое отношение к идее умерщвления

тирана и наполняли жизнь мистическими переживаниями. Не представлялось возможности совершить сейчас же сокровенный замысел, приходилось ждать, и длительность только обостряла эти переживания.

Все эти соображения нужно иметь в виду для того, чтобы понять самый процесс взаимодействия между Каховским и Рылеевым на почве раздумья о цареубийстве.

Мысль о цареубийстве, об истреблении фамилии странным образом связывала Рылеева и Каховского. Член тайного общества был нужен Каховскому, потому что при его содействии он легче мог реализировать сокровенную мечту; русский Занд был необходим Рылееву, потому что в распоряжении общества оказывался человек, который сделает, в конце-концов, то, что так идет навстречу целям общества, и о чем среднему члену страшно подумать. К мысли об устранении фамилии чаще всего направлялось их соединенное внимание. Вокруг их разговоров о цареубийстве создавалась душная атмосфера. Их нервы находились в напряженном состоянии, и отношения были порывисты: то улучшались, то ухудшались. Они сближались и расходились: то Каховский начинал подозревать Рылеева в нечистоте намерений и заявлял о своем выходе из общества, то Рылеев, вдруг уставая от его неистовства, начинал бояться, что несвоевременным покушением он испортит дело общества, и удалял Каховского из числа членов. А потом они опять сходились и рассуждали все о том же. До Каховского доходили льстившие ему, быть может, слухи о том, что Рылеев указывает на него, как на Занда, но он горел от негодования, когда чувствовал, что на него смотрят, как на орудие Рылеева. Его несколько обижало отношение к нему Рылеева. Последний не прочь был разгласить о нем, как об обреченном, но не поспешил сблизить его с другими членами общества и посвятить в тайны организации. Кажется, Рылеев немного мистифицировал молодых членов «думой»: в сущности, вся «дума» была в нем самом, а он выдавал ее за необыкновенно авторитетное учреждение, в котором будто бы находились самые важные люди государства. Такая же игра была и с диктатором Трубецким. Трубецкой только показывался, мало или совсем почти не разговаривал с недавними членами, и для них он действительно был диктатором, держащим в своих руках судьбы общества и в нужный момент диктующим действия. Каховский очень тонко подмечал подкладку действий Рылеева: «Рылеев все и от всех скрывал, всем распоряжался, все брал на себя и, сколько я знаю, то по его отрасли совещаний никаких не было... И члены собирались лишь спорить: он делал все по-своему; им выбран в диктаторы князь Трубецкой; нас всех и в частных

разговорах заставлял молчать, объявлял свои мнения волею диктатора; а диктатор, я не знаю, едва ли не был игрушкой тщеславия Рылеева». «Трубецкого, — говорит Каховский в другом своем ответе, — я даже никогда не слыхал говорящим. Он, кн. Оболенский, кн. Одоевский, Николай Бестужев, Пущин всегда запирались. Сие мне раз даже заметил Сутгоф, сказав: «нас, брат, баранами считают». И правда его. О чем они толковали, это им известно; нам не сделали никаких распоряжений; согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались». Как сильно в этих отзывах, данных много спустя (май 1826 г.) после роковых событий, чувство обиды на незаслуженное им недоверие, невнимание! Он — обреченный, а от него имеют тайны. Все это настраивало крайне возбужденно.

В показаниях декабристов переданы многочисленнейшие разговоры их о цареубийстве, отдельные фразы. Противоречие между ними очень значительно, каждый из них утверждал, что он не сказал тех слов, которые ему приписаны другим; один ссылается на другого. Один говорит, что это тот-де говорил о цареубийстве и изобрел такой-то метод истребления фамилии, а тот сваливал на первого. Все эти разговоры, рассеянные в различных показаниях, конечно, не имеют никакого значения для выяснения тактики декабристов в вопросе о цареубийстве: ведь в программу действий общества этот акт введен не был. Самое большее — перед 14 декабря предоставляли разрешение этого вопроса случаю или ждали действий от «обреченных», как это было с Каховским. Но все эти разговоры, не имеющие никакой юридической цены, важны для выяснения психологии декабристов: они вскрывают их душевное отношение к этому акту. И их нужно взять все целиком, *во всей их полноте, со всеми противоречиями и взаимными отрицаниями.* Вот эти-то противоречия именно и характерны.

Пользуясь этими показаниями, мы нарисуем несколько моментов из истории отношений Каховского и Рылеева на почве главной идеи, их соединявшей. Воображение воскресит несколько сцен, разыгравшихся в Петербурге в достопамятный год. Вот рассказ Рылеева (24 апреля 1826 г.).

«В начале прошлого года Каховский входит ко мне и говорит:

— Послушай, Рылеев! Я пришел тебе сказать, что я решил убить царя. Объяви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок.

«Я, в смятении вскочив с софы, на которой лежал, сказал ему:

— Что ты, сумасшедший! Ты верно хочешь погубить общество! И кто тебе сказал, что Дума одобрит такое злодеяние? — За-

сим старался я отклонить его от его намерения, доказывая, сколь оное может быть пагубно для цели общества; но Каховский никакими моими доводами не убеждался и говорил, чтобы я насчет общества не беспокоился, что он никого не выдаст, что он решился и намерение свое исполнит непременно. Опасаясь, дабы в самом деле того не совершил, я наконец решился прибегнуть к чувствам его. Мне несколько раз удалось помочь ему в его нуждах. Я заметил, что он всегда тем сильно трогался и искренно любил меня, почему я и сказал ему:

— Любезный Каховский! Подумай хорошенько о своем намерении. Схватят тебя, схватят и меня, потому что ты у меня часто бывал. Я общества не открою, но вспомни, что я отец семейства. За что ты хочешь погубить мою бедную жену и дочь?

Каховский прослезился и сказал:

— Ну, делать нечего. Ты убедил меня!

— Дай же мне честное слово, — продолжал я, — что ты не исполнишь своего намерения. Он мне дал оное. Но после сего разговора он часто стал задумываться; я охладел к нему; мы часто стали спорить друг с другом, и, наконец, в сентябре месяце он снова обратился к своему намерению и постоянно требовал, чтобы я его представил членам Думы. Я решительно отказал ему в том и сказал, что я жестоко ошибся в нем и раскаиваюсь, приняв его в общество. После сего мы расстались в сильном неудовольствии друг на друга. Засим узнал я, что его несколько дней не было в городе. Я спешил с ним увидеться, чтобы узнать, не ездил ли он в Царское Село, боясь, что не там ли он хочет исполнить свое предприятие, но подозрения мои оказались ложными. Он ездил в деревню, в которой была расположена рота Сутгофа. С самого того дня, как я узнал о намерении Каховского, я стал стараться о удалении его из Петербурга, и, наконец, советовал ему опять вступить в военную службу, представляя, что он в мундире полезнее будет обществу, нежели во фраке. Он согласился и подал прошение об определении его в какой-то пехотный полк, но ему отказали, потому что он служил в кавалерии. Я склонял его вступить в прежний полк, но как уже он совершенно обмундировался в пехоту, то и стал снова домогаться об определении в оную. Между тем при свиданиях мы продолжали спорить и даже ссориться. И, наконец, видя его непреклонность, я сказал однажды ему, чтобы он успокоился, что я извещу Думу о его намерении, и что если общество решится начать действия свои покушением на жизнь государя, то никого, кроме его, не употребит к тому. Он этим удовлетворился. Это происходило за месяц до кончины покойного государя императора».

Зная пылкость и решимость Каховского, его нетерпеливое желание пожертвовать жизнью делу свободы, мы можем не сомневаться, что рассказ Рылеева соответствует действительности; но в то же время он кое-что замалчивает. Мы понимаем положение Рылеева, застигнутого врасплох вызовом Каховского: как, покушение в сентябре месяце, когда общество было бы просто не в состоянии использовать это покушение! Рылеев-то ведь знал, что представляло то таинственное общество, которое Каховскому казалось могучим и властным! Но Рылеев умолчал о том, что, удерживая Каховского в обществе, он непременно должен был выставлять истребление фамилии, как цель общества. Он и обнадежил Каховского, сообщив ему, что на маскараде в новый год или на петергофском празднике можно будет привести в исполнение их взаимный замысел, истребить фамилию. Когда Каховскому были предъявлены показания Рылеева, он был крайне возмущен ими и, должно быть, в особенности отрицанием своей собственной роли в процессе обдумывания цареубийства. Выходило так, что он напрашивался со своим замыслом, а общество собиралось только поумнее воспользоваться актом Каховского! В своих ответах он не пощадил Рылеева.

«Обстоятельства мои не позволили мне надолго оставаться в Петербурге; брат мой уехал, и я вслед за ним хотел выехать. Переехал из трактира «Лондон», где я жил, в доме Энгельгардта, в Коломну, и в продолжение двух или более недель не видался с Рылеевым. За день перед отъездом моим я пошел к нему проститься, и он о отъезде моем не знал; со мной вместе из дому вышел и Энгельгардт; сколько я помню, кажется, он пошел к графу обедать. В переулке от Мойки в Офицерскую улицу нам встретился Рылеев с Сомовым; я остановился с ним, и Энгельгардт тоже. Рылеев стал мне выговаривать, что мы давно не видались, и сказал:

— А мне до тебя есть дело. — Я отвечал ему, что был у него несколько раз, но не заставал его и теперь шел к нему.

— Да, хорошо ко мне!

— Спроси Энгельгардта, что к тебе шел. — Энгельгардт при сем сказал: «точно, он шел к вам проститься: он завтра едет», и с сим поклонился и ушел. Рылеев стал спрашивать, куда я еду и зачем? Я сказал ему, что еду домой, в Смоленск. Он стал меня уговаривать остаться, но я сказал ему откровенно, что не могу остаться, не имею денег, чтобы жить в Петербурге. Он возразил на сие:

— Э, братец! Как же тебе не стыдно, зачем ты мне не сказал? Возьми денег у меня, сколько тебе надо. — Пригласил меня

итти вместе к нему обедать. Ввечеру просил меня зайти к нему, говоря, что ему нужно со мной переговорить: «и я думаю, я успею уломать тебя остаться здесь». Ввечеру пришел к нему; он стал мне говорить, что я необходимо нужен, что общество скоро начнет свое действие, и упрашивал меня остаться, говоря, что через меня соединяется лейб-гренадерский полк. На слова мои:—зачем я останусь, когда вы еще начнете действовать?—он поклялся мне, взглянув на образ, что непременно в 1826 году; что все почти готово, членов достаточно, что лишь остается приготовить солдат. Тут он мне сказал, что положено истребить царствующую фамилию или в маскараде на новый год, или на празднике в Петергофе. Он советовал мне вступить в службу в новгородское поселение, говоря, что обществу нужно там иметь людей надежных, и что я в несколько месяцев успею там приготовить несколько к восстанию и что мне в том там будут помощники. Я согласился с ним остаться в Петербурге, но в новгородское поселение итти служить не решился. Он советовал мне подать в какой-нибудь полк, говоря, что в мундире я буду виднее и более буду в силах действовать на солдат при восстании, и что при определении найдут средства оставить меня в Петербурге. Советовал мне определиться в учебный карабинерный полк, но я и на сие не согласился. Подал просьбу в елецкий пехотный полк, куда я и прежде сего думал определиться. Я занял у Рылеева денег, и он поручился за меня портному (все сие было в начале прошлого года). В принятии меня в пехоту мне отказали. Я остался в Петербурге ждать предполагаемого восстания.

. . . .

«Рылеев, видя во мне страстную любовь к родине и свободе, пылкость и решительность характера, стал действовать так, чтобы приготовить меня быть кинжалом в руках его. Но он не умел себя хорошо вести и очень во мне ошибся. Я не буду говорить всего, как он мне представлял в примеры Брута, даже Соловьева, который убил Батурина. Просто скажу вашему превосходительству, что Рылеев потерял рассудок, склоняя меня. Он думал, что он очень тонок, но был так груб, что я не знаю, какой бы невежа его не понял. По приезде Якубовича из Москвы, Рылеев рассказывал мне, что будто Якубович решался убить императора в параде на Царицыном лугу. Вы изволили слышать, как он себя оправдывал; я расскажу вам весь о сем разговор мой с ним, чтобы вы могли судить, как он изворачивался. Он говорил:

— Не правда ли, Каховский, славный бы поступок был Якубовича?

— Ничего, брат Рылеев, нет здесь славного: просто мщение оскорбленного безумца; я разумею славным то, что полезно.

*

— Да, я с тобой согласен, потому и удержал Якубовича до время; но я говорю, что какой бы урок царям. Тиран пал среди тысячи опричников.

— Что же такое, что пал! завтра будет другой. Хорошо, если можно поразить тиранство; а уроков— разверни историю и найдешь их много.

— Я тебя знаю, ты только, чтоб спорить, а сам защищаешь Занда.

— Да, Рылеев, против бессмысленных невежд.

— Ты так завистлив, что вечно все то осуждаешь, чего сам не можешь сделать. Ну, а не говорил ли ты, что и Соловьев сделал дело?

— Да, говорил, потому что Соловьев ничего не мог более сделать; но нам руководствоваться личным мщением гадко и жертвовать собой надо знать для чего. Итти убить царя — мудреного ничего нет: — и всех зарезать не штука; но, низвергнув правление, надо иметь возможность восстановить другое; а иначе, брат, безумно приступать. Завидовать, право, мне нечему: я готов сейчас собой пожертвовать, но хочу, чтоб из того была польза.

— Однако скажи, что может ли положение России, при каком бы то ни было перевороте, быть хуже, чем теперь?

— Потому я много не рассуждаю и соглашаюсь с тобой».

Оценивая этот рассказ, мы должны принять во внимание, что это был, очевидно, один из многих душных разговоров о цареубийстве, происходивший — надо полагать — сейчас же по возобновлении их сношений, когда Рылеев испытывал «чистоту» Каховского и нащупывал почву. Быть может, раздраженный Каховский обострил тут роль Рылеева и исказил действительность, но мы останавливаемся лишь на мелькающих тут аргументах цареубийства, несомненно высказанных по тому или иному поводу: тут и восхваление самоотвержения Якубовича, и выяснение чистоты его намерений, и осторожная (высказанная в мае 1826 г.) похвала Занда — как раз вся характерная по тому времени обстановка.

Приведем еще один разговор, переданный Каховским.

«Один раз осенью, зайдя к Александру Бестужеву, нашел его собирающимся итти ходить. Он пригласил меня итти с ним; дорогой говорили о делах общества, и между прочим он сказал мне:

— Представь, Рылеев воображает, что найдутся люди, которые не только решатся собою пожертвовать для цели общества, но и самую честь принесут для нее в жертву. — Я просил его истолковать мне слова сии. Он рассказал мне предложение Рылеева. Тем, которые решатся истребить царствующую фамилию, дадут все средства бежать из России, но если они попадутся, то

должны показать, что не были в обществе, потому что общество чрез то может пострадать. Цареубийство, для какой бы то цели ни было, всегда народу кажется преступлением. На сие я говорил, и Бестужев был того же со мной мнения, что если убить царя есть преступление и теперь, и во время свободы также будет видеться (считаться), то лучше к сему не приступать, и что верно не найдутся на сие люди. Бестужев сказал мне:

— А Рылеев все толкует о тебе, что ты на все решишься. — Я отвечал:

— Напрасно сие говорит Рылеев; если он разумеет меня кинжалом, то, пожалуйста, скажи ему, чтобы он не укололся; я давно замечаю Рылеева: он только меня склоняет, но обманется. Я готов собой жертвовать отечеству, но ступенькой ему или другому к возвышению не лягу». — На другой день я занемог, просил Рылеева ко мне прийти, и когда пришел он, я ему рассказал мой разговор с Александром Бестужевым. Он ужасно рассердился, наговорил мне, что *я весь во фразах и что он в чистоте моей обманулся*, и что Бестужев лгал обо мне, и что и без меня есть много желающих, и чище меня. Скоро потом пришел Бестужев, сказал мне, что Рылеев на меня сердится, затем он мне сказал:

— Я не хочу обманывать и иду прямо.

После всего мной узнанного я требовал настоятельно, чтоб было представлено Думе написанное к членам оной письмо, но Рылеев сжег его и отказал мне представить меня в оную, за что я с ним поссорился и отказался от общества.

Александр Бестужев дает следующий комментарий к этому разговору.

«Я уже и прежде сказал, что Рылеев назначал Каховского для нанесения удара, и говорил не однажды, что он чист, и что если те, которые нанесут удар, не уйдут, то должно будет их наказать. Желая как-нибудь удалить Каховского, ибо думал, что он мог бы на сие решиться, я старался подстрекать его любопытство и, наконец, имел точно разговор, показанный Каховским, где тонко показал ему, что его хотят употребить низким орудием убийства. Это средство подействовало, Каховский рассердился и просил меня сказать Рылееву, что он не ступенька для их умников. Когда я рассказал Рылееву, он взбесился на меня, говоря, что я для того только, чтоб показать силу своего убеждения, порчу членов, и что я мог бы беречь такие мнения про себя. На что я и сказал, что я не обманщик и людей в западню ловить не хочу; надо, чтобы всякий вполне видел, что он делает... Что же касается до ссоры нашей с Рылеевым, а его с Каховским,

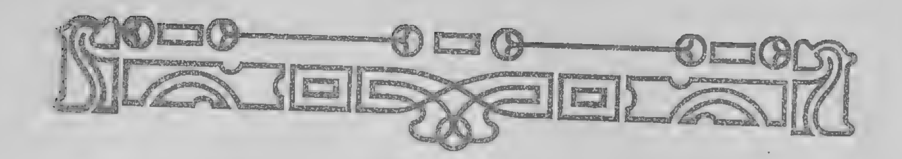
она действительно была, и мне казалось за то, что я (говорил) К. не так резко. («Ты считаешь К. чистым, — говорил я Рылееву, — а он честолюбец, и когда я сказал ему, что ждет цареубийц — он твердит, что не ступенька для других. Право, кажется, он метит в воеводы». Тут-то Рылеев возразил, что «верно я вселил в него такие мысли, что порчу человека и проч...». И верно он забыл этот случай, если противоречит»). Но статься может, к тому присоединялись и другие причины, и Рылеев, точно сердясь на Каховского, мне говорил, что он любопытством своим нарушает законы общества. (Я говорил Каховскому: «странно, право, что Рылеев с вами таится, такому человеку можно бы открыть и Думу» и проч. Вследствие чего он и надоел Рылееву). После сего не раз Каховский говаривал шутя, что Якубович у него отбивает первое место».

Конечно, некоторые из этих фраз и не были сказаны, но они хорошо передают нервную, напряженную атмосферу, окружавшую все такие разговоры, и как бы хранят еще следы тончайших переживаний... Нельзя не остановить внимания на единогласно подтверждаемом факте непрерывных ссор и споров, схождений и расхождений. И на дому у Рылеева, и в залах трактира «Лондон». и гостиницы «Неаполь» идут нескончаемые возбужденные разговоры все о том же. Приведем еще один рассказ Каховского, иллюстрирующий сомнения, обуревавшие декабристов: «Рылеев прежде разговора моего с Бестужевым был со мной искренен и в одно время сказал мне, что Дума на некоторое время должна будет удержать правление за собой, в чем я с ним не согласился и, напротив, представлял ему, что общество все должно сделать для блага отечества, но ничего не брать на себя и по успехе в предприятии; стараться избрать людей, известных в государстве. которые бы составляли временное правление, пока изберутся депутаты, и им представить конституцию, которую они в праве принять или что в ней переменить или совершенно отвергнуть. Рылеев с этого смеялся, говоря:

— Ты хочешь от аристократов чего доброго? Что, Мордвинова что ли сделать правителем? Пожалуйста, не мешайся, ты ничего более, как рядовой в обществе, да и от меня немного зависит; как определит Дума, так и будет. — Много сему подобного, что дало мне подозревать Рылеева, и я того не скрывал от него. Никогда я не вызывался убить покойного императора, но в разговоре о самоотвержении сказал Рылееву: «для блага моего отечества я готов бы был и отцом моим пожертвовать». Я помню очень: сей разговор был летом. Мимо окна шел князь Одоевский, я зазвал его и при нем говорили, что необходимо

нужно, кто решится собой жертвовать, знать, для чего он жертвует, чтобы не пасть для тщеславия других. Рылеев и в сем меня оспаривал и прозвал: «ходячая оппозиция». Он всегда ставил в пример мне Якубовича, что он без дальних рассуждений верит чести людей и готов всячески собой жертвовать, и что будто Якубович решался убить покойного императора при бывшем параде на Царицыном Лугу».

Все эти сведения мы почерпнули из показаний, данных на следствии, но для нас дошел один любопытный документ, рисующий положение Каховского в начале ноября 1825 года — его письмо к Рылееву от 6 ноября. «Сделай милость, Кондратий Федорович, спаси меня! Я не имею сил более терпеть всех неприятностей, которые ежедневно мне встречаются. Оставя скуку и неудовольствия, я не имею даже, чем утолить голод: вот со вторника до сих пор я ничего не ел. Мне мучительно говорить с тобой об этом, и тем более, что с некоторых пор я очень вижу твою сухость; одна только ужасная крайность вынуждает меня. Даю тебе честное слово, что по приезде моем в Смоленск употреблю все силы, как можно скорее выслать тебе деньги, и надеюсь, что, конечно, чрез три месяца заплачу тебе. Я не имею никаких способов здесь достать, а то, верь, не стал бы тебе надоедать собой» [20].



В тайном обществе.

Но споры прекратились по получении известий о смерти Александра и сменились разнообразнейшими проектами действий. «По кончине покойного императора, — показывал Каховский, — общество стало сильней действовать, я опять соединился с ним, не будучи в силах удержаться не участвовать в деле отечества».

Каховский принял участие и в организационной работе: он должен был приготовить лейб-гренадерский полк. Пропагандой идей тайного общества он занимался уже давно: по его объяснениям, еще летом или ранней осенью 1825 года он принял поручика л.-гренадерского полка Сутгофа[21] и прапорщика Палицына[22]. Позднее осенью, быть может, в ноябре, он принял офицеров лейб-гренадерского полка: поручика Панова[23], подпоручика Кожевникова[24] и прапорщика Жеребцова[25]. Наконец накануне 14 декабря он посвятил в замыслы общества и подпоручика Измайловского полка Фока, а немного раньше Глебова[26]. Можно поверить уверениям Каховского, что он открыл им, как цель общества, введение конституции и совершенно умолчал об истреблении фамилии. «Никому из них не открыл об убийстве царствующей фамилии, но возбуждал их сильно, — признавался Каховский генералу Левашову. — Ваше превосходительство, вам известно, много ли надобно разгорячить воображение молодых людей? Свобода сладка, и в сердце молодом любовь к отечеству, как и все чувства, живет сильней. Мы в молодости более управляемся сердцем, чем рассудком. Истинно говорю, я один причиною восстания лейб-гренадерского полка». Любопытно отметить совпадение показаний увлеченных Каховским в вопросе о способах «обольщения». *К общему благу* побуждал их Каховский. И все они, за исключением Жеребцова, честно выполнили задачи, возложенные на них тайным обществом. Сначала все сношения тайного общества с офицерами лейб-гре-

надерского полка шли через Каховского, и он прав, считая себя причиною восстания лейб-гренадерского полка. Потом к концу движения Рылеев вел сношения непосредственно через Сутгофа.

Каховский присутствовал при многочисленнейших совещаниях у Рылеева. «При мне,—показывал Трубецкой,—Каховский никогда ничего не говорил, и я с ним никогда не разговаривал; большею частью, когда я бывал у Рылеева, то он выходил в другую комнату, но во время некоторых совещаний я приметил, что он сиживал в той комнате, где они происходили, в окошке, в углу; к этому же, у которого совещания бывали, не подходил и в разговоры не вмешивался»[27]. Но когда Каховский высказывался, то он говорил весьма решительно. Сохранившиеся обрывки речей опять касаются главного предмета — истребления фамилии. Правда, среди возбужденных и нервных фраз других слова Каховского не самые жестокие. Штейнгель нарисовал в своих показаниях следующую жизненную картинку: «Я заметил, что А. Бестужев и Каховский, которого я в это время узнал, были пламенными террористами. Помнится мне, что именно 12 числа, пришед к Рылееву, я застал Каховского с Николаем Бестужевым говорящими у окошка, и первый сказал: «с этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надобно резать, да и только; иначе, если не согласятся, то я первый пойду и сам на себя объявлю». Я в тот же вечер сказал о сем Рылееву с укоризною, и он мне отвечал: «не беспокойся, он так только говорит. Я его уйму; он у меня в руках»... Противу особы государя приметно восстали опять кн. Оболенский, Бестужевы, Каховский, и потом князь Трубецкой требовал, как необходимости, чтобы принести его на жертву. Наконец он, Трубецкой, именно полагал, что надобно оставить Александра Николаевича, чтоб его объявить императором. Другие говорили, что можно ограничиться арестом, а Рылеев и Оболенский твердили, чтоб истребить всех. Князь же Одоевский твердил только: «умрем! ах, как славно мы умрем»[28].

Каховский в последнем своем признании передает самые невозможные проекты, которые только возникали среди этих бесед. «Положено было, как я уже сказал, если при взятии дворца в замешательстве не истребить царствующую фамилию, заключить ее в крепость и потом, убив цесаревича в Варшаве, будто освобождая царскую фамилию, умертвить ее. Все сие говорил Рылеев. Так было и положено. Николай Бестужев спросил Рылеева: «да кто же убьет цесаревича в Варшаве?» Рылеев отвечал: «Разве ты не знаешь, что наши там есть», и назвал какого-то конной гвардии артиллерийского офицера. Предполагалось в первых днях по известии о кончине императора, если цеса-

ревич не откажется от престола, или если здесь не успеют, то истребить царствующую фамилию в Москве в день коронации; сие тоже говорил Рылеев, а барон Штейнгель сказал:

— Лучше перед тем днем захватить их всех у всенощной в церкви у Спаса за золотой решеткой. — Рылеев подхватил:

— Славно! Опять народ закричит: любо, любо! В Петербурге все перевороты происходили тайно ночью. — Я на сие сказал:

— Да я думаю и теперь, если начинать здесь, то лучше ночью всеми силами итти к дворцу; а то смотрите, господа, пока мы соберемся на площадь, да вы знаете, и присяга не во всех полках в одно время бывает, а около дворца полк Павловский, батальон Преображенский, да и за конную гвардию не отвечаю, я не знаю, что там успел Одоевский, так, чтоб нас всех не перед ротами (?) прежде чем мы соединимся. — Рылеев на сие сказал:

— Ты думаешь, солдаты выйдут прежде объявления присяги? Надо ждать, пока им ее объявят. — Также Рылеев говорил мне, что если цесаревич не откажется от престола, то убить его всенародно, и тот, кто на сие решится и когда его схватят, чтобы закричал, что он научен к сему Николаем Павловичем, «знаешь, брат, какое это действие сделает в народе; тогда разорвут великого князя» (теперешнего императора). Я сие рассказывал Николаю Бестужеву, Александру Бестужеву и Штейнгелю (в самое то время, когда Штейнгель показывает на меня, что будто я согласился резать). Александр Бестужев сказал ему на сие:

— Ах ты штукарь!

— А я ему отвечал: — Нет, господа, я не беру этого на себя; это изобретение Рылеева.

Были запрошены по поводу «изветов» Каховского Рылеев, Бестужевы, Александр и Николай, и Штейнгель. Все они, кроме Штейнгеля, решительно отрицали истину всех сообщений Каховского. Каховский был в последней степени раздражения, когда открывал суду эти слова и фразы. Очевидно, это были фразы, сказанные и в ту же минуту забытые. Они были так мимолетны, что потом сказавшие их совершенно искренно могли усомниться в том, что они были сказаны. В делах есть много других фраз, доложенных комитету, но мы не приводим их отчасти потому, что считаем недостоверными, а главным образом потому, что и приведенных нами совершенно достаточно для характеристики настроения.

Повторяем, все эти изветы ценны только с психологической точки зрения и не имеют никакого значения при выяснении действительных планов общества. Реальным мог быть только один план — самоотверженное согласие Каховского нанести удар в день 14 декабря.

Накануне 14 вечером 13 разыгралась поразительная сцена. По показаниям, диктованным осторожностью, трудно представить тот восторженный подъем, который переживали в этот момент заговорщики. «13 декабря ввечеру, — показывал 14 марта Каховский, — Рылеев сказал, когда я спрашивал его о распоряжении, что надо видеть прежде силы наши и что на Петровской площади всем распорядится Трубецкой. Предположено было занять Сенат, крепость, по кому именно, не было назначено. Мне же сказал он, обнимая меня:

— Я знаю твое самоотверженне; ты можешь быть полезнее, чем на площади: истреби императора.

«Я совершенно не отказывался, возражал ему, что сего сделать невозможно, какие я найду к сему средства; он представлял, чтоб я вошел во дворец рано поутру, прежде восстания, в офицерском мундире; или на площади, если выедет император, убил его.

Об этой сцене несколько иначе рассказывает кн. Оболенский в своем показании от 14 марта. «При приезде моем я застал Пущина, Каховского и, кажется, Александра Бестужева. Я спросил у Рылеева, какой же план действий? Он объявил мне, что Трубецкой нам сообщит, но что собраться должно на площади всем с тою ротой, которая выйдет первая. После нескольких минут разговора он и Пущин надели шинели, чтоб ехать. Я сам уже прощался с ним, когда Рылеев при самом расставании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал:

— Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества; убей завтра императора.

«После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я. На сие Каховский спросил нас, каким образом сие сделать ему? Тогда я подал мысль [29] надеть ему л.-гренадерский мундир и во дворце сие исполнить, но он нашел сие невозможным, ибо его в то же мгновение узнают. После сего предложил, не помню кто из предстоящих, на крыльце дождаться проезда государя, но и сие было отринуто, как невозможное [30].

Восторг преклонения пред подвигом, последние объятия, прощальные поцелуи, данные обреченному — впоследствии казались декабристам каким-то видением, от которого нужно открещиваться, сном, который так нужно было бы забыть. Но несомненно, если идея цареубийства была когда-нибудь близка к реализации за все время жизни общества, так именно в этот момент; и если когда-либо декабристы задумывались над фактическим осуществлением своих замыслов и предпринимали переход от слов к делу, так именно теперь. Правда, кн. Оболенский постарался ослабить впечатление этого порыва. «Мы все опомнились от минутного

энтузиазма, сказав: «нельзя и так... Нечего делать». Вот единственная минута, в которую я помню, чтобы упомянуто было нами об августейшей особе государя. Я сознаюсь, что единая мысль о сем есть уже преступление, но прошу Комитет милостиво воззреть на людей, которые, расставаясь накануне того дня, который должен решить судьбу отечества или повергнуть их самих на последнюю степень бедствия, в исступлении чувства обращают мысль к поступку ужасному, но, опомнясь, оставляют оный»... Но никто другой не показывает, что мысль эта была оставлена заговорщиками. Можно считать достоверным, что заговорщики, дав последним поцелуем благословение Каховскому, разошлись с твердою уверенностью в том, что судьба царя отныне в руках Каховского. Что он сделает, то и будет. И Каховский на допросе, как бы испугавшись нарисованной им картины последнего прощания, не имеет смелости, дав сознание, не суживать его и старается оправдать себя в глазах Комитета. «Признаюсь откровенно, увлеченный бедствиями отечества и, может быть, заблуждаясь в цели и намерениях, я для общей пользы не видал преступления. Но соглашение Рылеева на убийство мне показалось гадким, и притом я давно его подозревал в нечистоте правил. Дружба его с Александром Бестужевым, хотя и вовлеченным в преступление по некорыстности, не алчущим своей прибыли, и принятые мной люди в члены общества удерживали меня в оном». Опять та же двойственность: признавая себя принципиально не только способным, но и желавшим выполнить акт цареубийства, он не имел силы сознаться в реальности своего намерения. Каховский в свое оправдание показывал, что ночью на 14 он заходил к А. Бестужеву и заявил ему, будто он не решается на предложение Рылеева; искавши же случай нанести удар императору, он может остаться праздным, а не разделить общей опасности он считает преступлением. А. Бестужев совсем иначе рассказывает об этом посещении Каховского. По его объяснению, оно было сделано не поздно ночью, а рано утром, по его приглашению сейчас же после сцены у Рылеева. «Вас Рылеев посылает на площадь дворцовскую?» сказал я. Он отвечал: «Да, но мне что-то не хочется». «И не ходите, возразил я, это вовсе не нужно». «Но что скажет Рылеев?» «Я беру это на себя; будьте со всеми на Петровской площади». Каховский попросил меня еще раз извинить его перед Рылеевым и ушел». Фальшь этого показания чувствуется сама собою. Бестужев рассказывает так, как будто речь идет о неисполнении ничтожного поручения: «Каховский имеет честь просить Рылеева извинить его в том, что он не может исполнить данного ему поручения убить его императорское величество»[31]. Скорее всего, в

разговоре Бестужев и Каховский выяснили невозможность нападения около дворца и предоставили это случаю. Если бы Николай Павлович показался на Сенатской площади и подъехал поближе к восставшим, Каховский сделал бы свое дело. «Слава Богу, — признался царю Каховский 19 марта, — что ваше величество не поверили Якубовичу, не подъехали к каре мятежному; может быть, в исступлении, я бы первый готов по вас выстрелить.» Зная образ действий Каховского на площади в день 14 декабря, можно утвердительно сказать, что так бы оно и было.

На Сенатской площади.

Тревожную ночь провел Каховский. Казались близкими самые затаенные желания. «Исступление»; экстаз, нервная напряженность достигли высшей степени. Поздно вечером, после посещения Рылеева, Каховский побывал у А. Бестужева, у Панова [32], у Андреева; у последнего он справлялся об адресе Кожевникова. А рано утром он был уже на ногах. В 7 часов его видел у Рылеева Оболенский. При нем его послали в л.-гренадерский полк к Сутгофу. Рано утром он был, по показанию А. Бестужева, в казармах Московского полка у Михаила Бестужева на минутку, узнать, как идут дела и сказать: «Господа, не погубите лейб-гренадеров нерешительностью». Вслед за Якубовичем приезжал в гвардейский экипаж и Каховский, чтобы узнать настроение общества офицеров. Испытывая их решимость, он сказал:

— Можно и отложить восстание до более благоприятного времени.

Тут в безумном энтузиазме А. П. Беляев сказал ему:

— Нет, лучше не откладывать, если имеются люди, могущие вести временное правление; другого такого случая, может-быть, не будет.

— В таком случае, — отвечал Каховский, — станем действовать [33].

В гвардейском экипаже произошел инцидент. Кюхельбекер показал, что, сходя с крыльца офицерских казарм гвардейского экипажа, он увидел Каховского: он бежал через двор, а за ним гнались солдаты, которые, как он позднее сам Кюхельбекеру рассказывал, сорвали с него шинель...

Затем мы видим его на Сенатской площади.

В одиннадцатом часу утра на Сенатской площади показались первые отряды восставших войск — роты Московского полка во главе с кн. Щепиным-Ростовским и Бестужевыми. Московцы сейчас

же построились в каре. Пустынная до сих пор площадь наполнилась народом. Народ, повидимому, сочувствовал восставшим. Члены тайного общества, не носившие военного мундира, или, как выражается донесение, люди гнусного вида во фраках были тут же. Тут был и приятель Каховского Глебов, и Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Каховский с двумя заряженными пистолетами и кинжалом все время находился или перед фронтом или в рядах солдат. Он агитировал и поддерживал солдат частыми возгласами «Ура, Константин!» Из всех заговорщиков, бывших в этот день на площади, Каховский, несомненно, был самым решительным и одним из самых энергичных. Он не привел в исполнение главный свой замысел. Николай Павлович не подъехал к каре восставших, и Каховский, оставаясь около каре, не имел возможности стрелять «по Государю». Но зато он как будто поставил своим долгом устранять всякие препятствия, какие только могли помешать успеху дела. Когда он увидел, что убеждения графа Милорадовича могли поколебать твердое настроение солдат, он пустил в него пулю. Штейнгель оставил в своих записках описание смерти Милорадовича. «Едва успели инсургенты построиться в каре, как Милорадович показался скачущим из дворца в парных санях, стоя, в одном мундире и в голубой ленте. Слышно было с бульвара, как он, держась левою рукою за плечо кучера и показывая правою, приказывал ему: «объезжай церковь и направо к казармам». Не прошло трех минут, как он вернулся верхом перед каре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеянностию старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором; но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа отъехать прочь, иначе угрожал опасностию. Заметя, что граф не обращает на это внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фас, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую» [34].

Немного спустя, на площади показались лейб-гренадеры, приведенные сюда друзьями Каховского — Суттгофом, Пановым, Кожевниковым. Самолюбие его, как заговорщика, должно быть, было удовлетворено. Почти весь лейб-гренадерский полк был налицо. В казармах осталась только рота кн. Ливена да немногие

солдаты из других рот[35]. Но вместе с лейб-гренадерами пришел и их полковой командир Стюрлер, все время убеждавший своих солдат вернуться в казармы, и лишь только лейб-гренадеры поравнялись с Московским полком, пуля Каховского сразила Стюрлера. Сутгоф увидал, как Стюрлер повернул назад, держа себя за бок. Сутгоф бросился с вопросом к Каховскому: «ты ли выстрелил?» и получил сухой ответ: «теперь не время об этом говорить». Дело, продиктованное логикой восстания, коснувшись души Каховского, не могло не нарушать его равновесия. Кн. Одоевский видел, как выстрелил Каховский. У Одоевского был пистолет; один из лейб-гренадер, не любивших своего полковника, счел виновником выстрела Одоевского, выскочил из толпы и поцеловал его, а Каховский с торжественным видом показал свой пистолет и сказал, что он его ранил. Потом Каховский сознался Одоевскому, что он имеет на душе двух и что ему гадко мясничать, и бросил пистолет со словами: «уж будет с меня!»[36].

Еще одно кровавое покушение в этот день легло на душу Каховского. Он ранил свитского офицера шт.-капитана Гастефера; трудно понять, почему: потому ли, что в пылу возбуждения он заставлял его кричать «Ура, Константин!» а тот отказывался, или потому, что он показался подозрительным. Каховский нанес ему рану в лицо, но сейчас же опомнился. Ему стало жаль офицера, и он отвел его в каре.

Но Каховскому пришлось быть участником не только кровавых происшествий. В числе других он объяснялся с митрополитом Серафимом, явившимся на площадь для увещания мятежников. Он встретил прием, далеко не ласковый. «Первосвятитель, — рассказывает диакон Прохор Иванов, сопровождавший митрополита, — у первой шеренги остановился и, подняв крест, говорил им велегласно:

— Воины! успокойтесь... вы против Бога, церкви и отечества поступили: Константин Павлович письменно и словесно, трикраты, отрекся от российской короны, и он ранее нас присягнул на верность брату своему Николаю Павловичу, который добровольно и законно восходит на престол... Синод, сенат и народ присягнули; вы только одни дерзнули восстать противу сего. Вот вам Бог свидетель, что есть это истина, и что я, как первосвятитель церкви, умаливаю вас оной, успокойтесь, присягните...

«Между тем из среды мятежников составилась из нескольких офицеров депутация, и, приблизившись к митрополиту с обнаженными шпагами, некоторые, будучи в нетрезвости, дерзновенно ответствовали:

— Несправедливо! Где Константин?

«Митрополит отвечал:

— В Варшаве.

«Мятежники кричали:

— Нет, он не в Варшаве, а на последней станции в оковах... Подайте его сюда!... Ура, Константин!.. Какой ты митрополит, когда на двух неделях и двум императорам присягнул... Ты — изменник, ты — дезертир Николаевский, калугер, не верим вам, подите прочь!.. Это дело не ваше: мы знаем, что делаем. Скажи своему государю, чтобы он послал к нам Михаила Павловича: мы с ним хотим говорить; а ты, калугер, знай свою церковь!» [37]

По показанию Штейнгеля, Каховский в ответ на речь Серафима сказал: «полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас: поди-ка на свое место!» Серафим нашелся ответить только: «Христианин ли ты? По крайней мере поцелуй хотя крест». Каховский поцеловал крест. Когда Каховскому были прочитаны показания Штейнгеля, он отрицал, что им были сказаны какие-либо дерзости, и разъяснил, что он говорил митрополиту: «Вы так же можете быть обмануты, как и прочие». «Митрополит уверял крестом истину слов своих и, обратясь ко мне, сказал: «поверь хоть ему». — В то время я приложился к кресту. Митрополит уговаривал не лить крови одноземцев, на что я отвечал: «мы сами сего страшимся, но можем быть к тому вынуждены; просил его уговорить противную сторону не нападать, а что мы объявили наши требования Сенату и никак не хотим и не с тем сошлись, чтобы лить кровь, но лишь желаем законного порядка».

Вот все, что мы знаем о действиях Каховского на площади.

К вечеру восстание было подавлено, мятежники разбежались. Начались аресты. Вечером у Рылеева еще могли собраться кое-кто из заговорщиков: Штейнгель, Каховский, Пущин. Каховский рассказывал о своих действиях — об убийстве Милорадовича, о нанесении раны свитскому офицеру. Показывая кинжал, еще хранивший следы крови, он обратился с следующими словами к Штейнгелю: «Вы, полковник, спасетесь, а мы погибнем; возьмите этот кинжал на память обо мне и сохраните его». И в этот момент поражения и подавленности духа действия Каховского казались необыкновенными, вызывающими поклонение: кинжал становился реликвией...

«Свободы тайной страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды».

И Штейнгель, почтенный и миролюбивый Штейнгель, взял кинжал [38].

Полиция начала розыски Каховского уже вечером 14 декабря. В первом часу ночи полицеймейстер явился к Гречу и спросил у него, где живет Каховский. В руках у полицеймейстера была записка, на которой был написан адрес «у Вознесенского моста, в гостинице Неаполь, в доме Мюссара». Греч отозвался незнанием. «Знаете ли вы, кто написал это? Сам государь», — сказал полицеймейстер Гречу [39].

Полиция не нашла Каховского дома. В ночь на 15 он ночевал у Кожевникова. Он явился домой 15 декабря и здесь был арестован ожидавшим его казаком и отвезен в Зимний дворец. 15 вечером или 16 утром Каховский предстал перед Николаем Павловичем.



Маски императора.

Первые дни, первые месяцы своего царствования император всероссийский Николай Первый всю энергию, все способности своего духа употребил на розыски по делу декабристов. Всю жизнь в нем крепко и прочно сидел сыщик и следователь, вечно подозрительный и выслеживающий, вечно ищущий кого бы предать суду и наказанию. Но в первые месяцы царствования эта основная сущность его души раскрылась с необычайной полнотой и зловещей яркостью. В это время в России не было царя-правителя: был лишь царь-сыщик, следователь и тюремщик. Вырвать признания, вывернуть душу, вызвать на оговоры и изветы—вот священная задача следователя; и эту задачу в конце 1825 и в 1826 годах исполнял русский император с необыкновенным рвением и искусством. Ни один из выбранных им следователей не мог и сравниться с ним. Действительно, Николай Павлович мог гордиться тем, что материал, который лег в основу следствия, был добыт им и только им на первых же допросах. Без отдыха, без сна он допрашивал в кабинете своего дворца арестованных, вынуждал признания, по горячим следам давал приказы о новых арестах, отправлял с собственноручными записками допрошенных в крепость и в этих записках тщательно намечал тот способ заключения, который применительно к данному лицу мог привести к обнаружениям, полезным для следственной комиссии. За ничтожнейшими исключениями, все декабристы перебывали в кабинете дворца, перед гневными очами своего царя и следователя. Первые сообщения по делу каждый из них делал ему или генералу, сидевшему перед кабинетом, снимавшему допросы и тотчас же докладывавшему государю. Иногда государь слушал эти допросы, стоя за портьерами своего кабинета...

Одного за другим свозили в Петербург со всех концов России замешанных в деле и доставляли в Зимний дворец. Напряженно волнуясь, ждал их в своем кабинете царь и подбирал маски.

каждый раз новые для нового лица. Для одних он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподданный, для других — таким же гражданином отечества, как и арестованный, стоявший перед ним; для третьих — старым солдатом, страдающим за честь мундира; для четвертых — монархом, готовым произнести конституционные заветы; для пятых — русским, плачущим над бедствиями отчизны и страстно жаждущим исправления всех зол. А он на самом деле не был ни тем, ни другим, ни третьим: он просто боялся за свое существование и неутомимо искал всех нитей заговора с тем, чтобы все эти нити с корнем вырвать и успокоиться.

Один из привлеченных к делу, простодушный и искренний Гангеблов, в несколько наивных выражениях передает впечатление, которое произвел на него царь-следователь. Отметив, что член следственной комиссии генерал Чернышев не прочь был вслух прочесть то, чего не было в бумаге, Гангеблов пишет: «Более и чаще всего мне приходили на память вопросы, которые мне были задаваемы самим государем. Тут не могло встретиться ничего подобного тому, что при неудаче могло бы случиться с Чернышевым. Государь прямо не уличал меня в преступлении; все его дознания предлагаемы им были в форме вопросов, а вопрос не есть улика. Нельзя не изумиться неутомимости и терпению Николая Павловича. Он не пренебрегал ничем: не разбирая чинов, снисходил до личного, можно сказать, беседования с арестованными, старался уловить истину в самом выражении глаз, в самой интонации слов ответчика. Успешности этих допыток много, конечно, помогала и самая наружность государя, его величавая осанка, античные черты лица, особливо его взгляд: когда Николай Павлович находился в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость; но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии».

Внешними средствами, находившимися в его распоряжении, Николай Павлович воспользовался, сообразно с обстоятельствами. Он знал, кого нужно приласкать, чтобы заставить говорить, и кого напугать так, чтоб он говорил, почти не останавливаясь.

С величайшим любопытством следишь за изменениями в приемах Николая Павловича.

К наивному молодому офицеру, пажу ее величества Гангеблову, Николай Павлович подходил с ухватками ласковой кошки. «Что вы, батюшка, наделали?.. Что вы это только наделали?.. Вы знаете, за что вы арестованы?..» — говорил он ему. И, взяв Гангеблова под руку, не сводя с глаз пристального взора, он водил его по зале. «Я с вами откровенен. Платите и вы мне тем же» и

т. д.[40]. И все эти обороты для того, чтобы выудить признание в принадлежности к обществу.

С трепещущим от страха Ф. Н. Глинкой царь обошелся иначе. «После подробного вопрошения, сделанного ему прозорливым испытателем в императорском дворце, государь с неизъяснимым благоволением изволил сказать ему: «Ты можешь оставаться спокоен: будь покоен»[41]. И этой фразы было достаточно для того, чтобы Глинка исписывал целые листы со всевозможными подробностями об обществе.

Николая Бестужева царь принял ласково и, заметив в нем чувства страстной любви к отечеству, сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам»[42].

Со Штейнгелем, отцом не малочисленного семейства, человеком далеко не молодым, Николай обошелся иначе, да так, что он на всю жизнь не забыл подробностей своей встречи с царем. «Штейнгель, и ты тут?» — сказал государь. — «Я только был знаком с Рылеевым», — отвечал я. — «Как ты родня графу Штейнгелю?» — «Племянник его, и ни мыслями, ни чувствами не участвовал в революционных замыслах; и мог ли участвовать, имея кучу детей!» — «Дети ничего не значат, — прервал государь, — твои дети будут мои дети! Так ты знал о их замыслах?» — «Знал, государь, от Рылеева.» — «Знал и не сказал, не стыдно ли?» — «Государь, я не мог и мысли допустить дать кому-нибудь право назвать меня подлецом!» — «А теперь как тебя назовут?» — спросил государь саркастически, гневным тоном. Я нерешительно взглянул в глаза государя и потупил взор. «Ну, прошу не прогневаться, ты видишь, что и мое положение не завидно», сказал государь с ощутительною угрозою в голосе и повелел отвести в крепость. Одно воспоминание об этой минуте, чрез столько лет, приводит в трепет. «Твои дети будут мои дети» и это «прошу не прогневаться»—казались мне смертным приговором. *С этой минуты я был уже не в нормальном положении*[43]. В другом месте своих записок Штейнгель не без иронии пишет: «Гнев еще преобладал в государе: укоризны, сарказмы напоминали слова царя-пророка: «прощение царево подобно рыканию льва», и заставляли сожалеть о забытии продолжения этих слов: «яко трава злаку, тако тихость есть»[44].

— Говорите всю правду, — сказал Николай Павлович Басаргину перед допросом,—и если скроете что-нибудь, то пеняйте на себя[45].

Метод устрашения и стремительного нападения Николай Павлович применил к Лореру и Якушкину, осведомившись об их отказе назвать соучастников.

«Я, — вспоминал Лорер, — мысленно стал готовиться, чтобы суметь отвечать государю прилично, но с чувством собственного достоинства... Оправдываться я не хотел, да и не для чего... Недолго продолжались мои приготовления, послышался шум, и Левашев, заглянув ко мне за ширмы, просил меня пожаловать. Из другого конца длинной залы шел государь в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы. Лицо его было бледно, волосы взъерошены... Никогда не удавалось мне его видеть таким. Я твердыми шагами пошел было ему навстречу, но он издали еще движением руки, меня остановил, и сам тихо подходил ко мне, меряя меня глазами... Я почтительно поклонился.

«Знаете ли вы наши законы?» начал он. «Знаю, ваше величество». — «Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть!» и он показал, проведя рукой по своей шее. Я молчал.

«Чернышев вас долго убеждал сознаться во всем, что вы знаете и должны знать, а вы всё финтили. У вас нет чести, милостивый государь». Тут я невольно вздрогнул, у меня захватило дыхание, и я невольно проговорил: «Я в первый раз слышу это слово, государь»... Государь сейчас опомнился и уж гораздо мягче продолжал: «Сами виноваты, сами... Ваш бывший полковой командир погиб; ему нет спасения... А вы должны мне все сказать... Вы пользовались его дружбой и должны мне все сказать, слышите ли... а не то погибнете, как и он»... «Ваше величество, — начал я, — я ничего более не могу прибавить к моим показаниям в ответных моих пунктах... Я никогда не был заговорщиком, якобинцем, всегда был противник республики, любил покойного государя императора и только желал для блага моего отечества коренных правдивых законов. Может быть, я заблуждался, но мыслил и действовал по своему убеждению»... Государь слушал меня внимательно и вдруг, подойдя ко мне быстро, взял меня за плечи, повернул к свету лампы и посмотрел мне в глаза. Тогда движение это и действие меня удивило, но после я догадался, что государь, по суеверию своему, искал у меня глаз черных, предполагая их принадлежностью истых карбонариев и либералов. Но у меня он нашел глаза серые и вовсе не страшные. Государь сказал что-то на ухо Левашеву и ушел [46].

Разговор его с Якушкиным тоже необычайно ярок и красочен.

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно; если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались, как с свиньей, то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству, — ответил я, указывая на Левашова, стоящего поодаль в почтительном положении.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!

— Назвать, государь, я никого не могу.

Новый император отскочил три шага назад, протянул ко мне руку и сказал: «заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог» [47].

Собственноручная записка Николая Первого, при которой Якушкина препроводили из дворца в крепость, была следующего содержания: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа; поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея». Но Якушкин был одним из всех совсем немногих, на кого не подействовали ухищрения Николая. Правда, применению здесь методу нельзя отказать в значительной доле грубости. Животный страх смерти, физических мук был чужд декабристам. Этим страхом, быть может, отмечен только один князь С. П. Трубецкой, в слезах целовавший руки Николая Павловича и моливший о жизни. « La vie, Sire, la vie » [48]! Трубецкой вымолил себе жизнь ценой подробнейших признаний. Его избрание в диктаторы — удивительная насмешка судьбы над декабристами.

Декабристов, искренних и увлекающихся людей, энтузиастов, можно было поймать на благородство. Нужно было запрятать глубоко свою ненависть к ним, разыграть роль человека, заботящегося только о том, чтобы родина избавилась, наконец, от зол и бедствий. И Николай Павлович прекрасно разыгрывал эту роль. Он прикидывался почти их единомышленником. В разговорах с ними он, очевидно, разделял все их мнения о неустройстве родины и средствах исправления всех зол. Он сумел вселить в них уверенность, что он-то и есть тот правитель, который воплотит их мечтания и облагодетельствует Россию. Вскрывалось роковое недоразумение: они шли с оружием в руках на друга своего дела. Вооруженное восстание оказывалось ненужным и гибельным. Нужно — это было так очевидно — предупредить вспышки в других местах России, лишить возможности действовать тех, кто еще оставался на свободе. Только такая психология, созданная

под впечатлением тонкой, артистической игры царя-следователя, объясняет буквально взрыв признаний, раскаяний, оговоров, оглашавших царский кабинет в Зимнем дворце. «Опыт показал, — писал в первом своем показании 14 же декабря Рылеев, — что мы мечтали, полагаясь на таких людей, как князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я ***долгом совести и честного гражданина*** почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы тамо не вспыхнуло возмущения» [49]. И почти все они на первых же допросах спешили предупредить возможное возмущение и возможные действия со стороны остающихся на свободе. Они выдавали поголовно всех соучастников, казалось, забыв об участи, их ожидающей. Правда, Николай Павлович усыплял их беспокойство, представляя грядущее наказание незначительным. Каховский и Пестель, например, совершенно не ждали смертной казни. Чрезвычайно характерные подробности передает Д. И. Завалишин об убеждениях, исходивших от комитета и священника и повторявших, быть может, речи самого Николая. «Неужели думаете вы, — говорили обвиняемым, — что для государя важно наказать несколько человек? Вот он не только простил Суворова, но и произвел его в офицеры за его откровенность, потому что он объяснил ему, почему его образ мыслей был республиканский. На той высоте, на которой стоит Государь, нельзя ему не видеть того, что признает и всякий умный и образованный человек, что если отдельные лица и могут быть виноваты, то были же общие законные причины неудовольствия, если они могли увлечь такую массу людей, вопреки их личным интересам. Поэтому ясно, что для государя важнее знать эти общие причины, нежели виновность того или другого лица. Вы знаете, что у высокопоставленных людей в решении государственных дел политические соображения стоят выше всего. Вы знаете, что после этих соображений даже прямые участники в смерти Петра III и Павла не только не подверглись ответственности, но и были возведены на высшие государственные звания. Мы уверены, что по раскрытии всего дела будет объявлена всеобщая амнистия. Говорят уже, что государь даже выразился, что удивит и Россию и Европу» [50]. Так притуплялось острое чувство ответственности перед другими членами, чувство боязни перед карами.

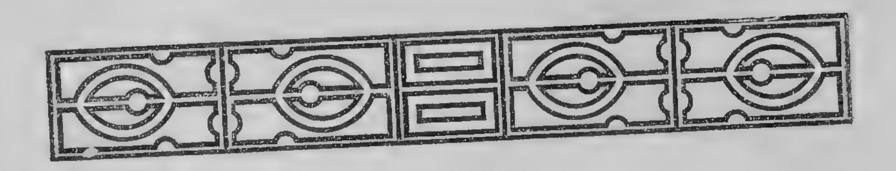
Все письма декабристов из крепости, все показания переполнены восхвалениями милосердия государя, милосердия, не грядущего, а настоящего. Он умело возбуждал столь свойственное благородным людям чувство благодарности.

Тем, кто смертельно тосковал о судьбе жены, детей, он обещал свои царственные заботы и, действительно, заботился. Заканчивая свое признание, 16 декабря Рылеев писал царю: «Свою судьбу вручаю тебе, государь: я отец семейства» [51]. Так, после этих слов Николай Павлович даже 2.000 рублей прислал жене Рылеева, и Рылеев стал его. «Молись Богу за императорский дом, — писал Рылеев жене 28 декабря, — я мог заблуждаться, могу и вперед, но быть неблагодарным не могу. Милости, оказанные нам Государем и Императрицею, глубоко врезались в сердце мое. Что́ бы со мной ни было, буду жить и умру для них» [52]. Император Николай пригрел детей и повесил отца.

Тем, кто страдал об отце или матери, он разрешал писать или давал свидания. И он удивительно умел обставлять эти разрешения писем и свиданий: заключенным они казались результатом глубочайшего милосердия, а не обычным и должным выражением человеческого отношения. И опять размягчалось благодарное сердце, и развязывался язык. Князь Оболенский на первых допросах открыл многое и многих, но не все и не всех. Многие остались скрыты в сердце его. «Мог ли я тою самою рукой, — писал кн. Оболенский царю, — которая была им залогом верности, предать их суду, тобою назначенному?.. Я не в силах был исполнить сей жестокой обязанности». Но... царь разрешил передать кн. Оболенскому письмо его престарелого отца, нежно им любимого. Тут благодарное сердце не выдержало. «Вера, примирив меня с совестию моею, вместе с тем представила высшие отношения мои: *милосердие же твое, о Государь, меня победило*. В то время, когда я лишился всех надежд, когда темница сделалась мой мир, а голые стены оной — товарищами моей жизни, манием благотворной руки твоей письмо отца моего, как ангел-утешитель, принесло спокойствие и отраду душе моей. Благодеяние твое, монарх милосердный, воззрение твое на мольбу семидесятилетнего старца — останется незабвенным в душе моей. И потому, видя в тебе не строгого судью, но отца милосердного, я, с твердым упованием на благость твою, повергаю тебе жребий чад твоих, которые не поступками, но желаниями сердца могли заслуживать твой гнев» [53]. Но как актер, играющий короля, в действительности не имеет в своей душе ничего королевского, так и Николай Павлович, игравший роль благородного гражданина, был совершенно чужд истинному благородству. И милосердие оказалось только на словах. Взяв от своих жертв все, что было можно и нужно взять, он подверг их жесточайшим наказаниям. Он, так много выигравший от чувства благодарности, живущего в благородном сердце, отстранил от са-

мого себя малейшие обязательства признательности и благодарности.

Итак, государь выдавал себя не за того, кем он был на самом деле: государь играл. В дни и месяцы сыска над декабристами Николай Павлович показал свое лицо в неожиданном, зловещем освещении. Царь-актер, искусно меняющий личины... Из этой его духовной сущности, открывшейся в начале царствования, мы должны исходить, если желаем понять его личность, его образ действия во всей последующей жизни. Он всегда умел провести наблюдателей, которые простодушно верили в его искренность, благородство, смелость, а ведь он только играл. И Пушкин, великий Пушкин, был побежден его игрой. Он думал в простоте души, что царь почтил в нем вдохновенье, но дух державный в нем не жесток... А для Николая Павловича Пушкин был просто шалопаем, требующим надзора. Снисходительность же объясняется исключительно желанием и из поэта извлечь возможно большую выгоду...



Каховский стоял перед «тираном», которого он только что собирался поразить для блага родины, перед царем, в договор с которым он не верил, перед «врагом отечества». Но новый царь явился перед ним как бы преображенным, таким, какого он не встретить не ожидал. Так же, как и Каховский, он болел несчастиями родины, так же, как и первый, он верил в один и те же средства избавления. Многоликий, он открыл один из своих ликов — лик царя-гражданина и реформатора. Но этот лик — лишь маска. Николай Первый в такой же мере мог быть царем-реформатором, в какой шеф жандармов Бенкендорф — поэтом и композитором. Помимо гражданина и реформатора, в Николае Павловиче открылся для Каховского новый для него человек, полный благородства, истинной щедрости духа, способный понять сложнейшие и интимнейшие намеки его души. Вот тут-то, при столкновении с живым человеком, терпел крушение идеал политического убийства. Казалось легким убить отвлеченного человека, поработителя свободы, тирана, деспота, и вдруг почувствовалась вся неизмеримая тяжесть убийства вот этого, стоящего перед ним человека, Николая Павловича Романова, почти такого же, как он сам. И Каховский не имел сил даже признаться в своих замыслах, когда услышал из уст этого человека коротенькую фразу: «а нас всех зарезать хотели!»

Между царем и государственным преступником произошел долгий разговор. Каховский рассказывал о неустройстве родины, о всех недостатках, о всяком зле, словом обо всем, что явилось причиною основания тайного общества. Нужно думать, что он был необыкновенно красноречив, пылок и одушевлен. Его письма к царю и генералу Левашеву, в которых он изложил, очевидно, все, что было предметом разговора, являются образцом эпистолярного стиля. Ему казалось, что сам Николай Павлович не мог бы поступить иначе. — «Взгляните на состояние народное, что есть у нас, — писал он впоследствии (19 марта) царю, — безопасность

лиц и собственность ничем не ограждены; совершенное отсутствие закона и справедливости в судопроизводстве, тяжкие налоги, взимаемые не с приобретений, но разрушающие капиталы; убитая торговля, сжатое просвещение, задушенная свобода, — вот наше богатство, наше достояние. Государь, станьте частным лицом в государстве нашем и спросите самого себя, что бы вы произвели на нашем месте, когда бы подобный вам человек мог располагать вами по своему произволу, как вещью».

Слушая речи Каховского, царь плакал. «Государь, — писал Каховский в том же письме. — Что было причиной заговора нашего, спросите самого себя, что, как не бедствия отечества? Добрый государь, я видел слезы сострадания на глазах ваших. Вы — человек, вы поймете меня! Можно ли допустить человеку, нам всем подобному, вертеть по своему произволу участью пятидесяти миллионов людей? Где, укажите мне страну, откройте историю, где, когда были счастливы народы под властью самодержавною, без закона, без прав, без собственности?» В ответ на страстные речи Каховского, что мог сказать Николай Павлович? Да только пожалеть, почему же обо всех этих бедах не писали государю! «Его Величеству, — писал Каховский 24 февраля генералу Левашеву, — угодно было сказать мне: «зачем я не писал к покойному императору о известных мне неустройствах? Многие, очень многие писали, но не внимали им».

Страстным воплям Каховского о необходимости взяться за устройство родины Николай Первый противопоставил фразу и обольстил его фразой. «Я сам есть первый гражданин отечества», — сказал он Каховскому. И через день после свидания-допроса тот писал царю: «Счастлив подданный, слышавший от своего монарха: «Я сам есть первый гражданин отечества». Дай Бог, чтобы отечество было у нас в совокупности с государем. Я, желающий блага моей милой родине, благословляю судьбу, имея случай излить чувства и мысли мои перед монархом моим, обещающим быть отцом отечества». Итак, царственная игра зашла далеко. Каховский забыл свое недоверие к власти, и Николай стал для него отцом отечества, а то, что было на Сенатской площади, вдруг оказалось таким ненужным, братоубийственным и преступным.

Царь, казалось, подметил кое-какие особенности Каховского. Он почувствовал его антипатию к иностранцам и отозвался на нее. «Слава Богу, — писал тот в первом же письме к царю, — вы не презираете имени русского. Я заметил, как сказали вы: «Кто может сказать, что я не русский!» Так, государь, вы русский. Любите народ свой, а народ будет боготворить в вас отца своего». Должно быть, — мы не можем утверждать с достоверностью, но

письма дают право на такое заключение,—Каховский рассказал Николаю о своей жизни, и Николай увидел, какой это был одинокий, заброшенный и несчастный человек, увидел и сейчас же воспользовался этим. После первого допроса он отослал Каховского в крепость с следующей запиской: «Присылаемого Каховского посадить в Алексеевский равелин, дав бумагу, пусть пишет, что хочет, не давая сообщаться». Эту записку А. Я. Сукин, комендант Петропавловской крепости, получил в половине 3 пополудни 16 декабря. После второго свидания-допроса Николай Павлович прислал следующую записку: «Каховского содержать лучше обыкновенного содержания, давать ему чай и прочее, что пожелает, но с должною осторожностью. Адъютанта герцога, Александра Бестужева, заковать, ибо, по всем вероятиям, он убийца штыком графа Милорадовича. ***Содержание Каховского я принимаю на себя*** [54]. Сукин доносил комиссии: «При Высочайшем Е. И. Величества повелении возвращенный арестант Каховский посажен в прежний каземат, где и будет получать повеленное ему лучшее содержание» [55]. Каховский был возвращен 18 декабря в $9^1/_2$ часов вечера. Таким образом, после 14 декабря Николай Павлович становился для Каховского до некоторой степени тем же, чем был для него до 14 декабря Рылеев: материальной поддержкой. И чувство благодарности было приподнято и разрешалось отзывчивостью...

Роль царя-реформатора была сыграна с необыкновенным успехом. Вернувшись из дворца в крепость и получив бумагу, Каховский 17 декабря набросал письмо государю. Он начал с изложения причин, отторгнувших его от монарха. Он писал о том, что страна стонет и ропщет под бременем налогов, прямых и косвенных, иногда взыскиваемых даже вдвойне (таков подорожный налог, уплачиваемый два раза: натурой и деньгами). Он указывал на стеснения торговли, причиняемые запретительной системой, на вред казенных монополий и тарифов. Он перечислял вопиющие недостатки русского судопроизводства: неясность, недостаточность и противоречие существующих законов, судебную волокиту, необеспеченность чиновников, являющуюся причиной взяточничества. Он порицал предпочтение, оказываемое иностранцам и обижающее русских, и упоминал о полнейшем отсутствии просвещения.

«Вот причины,—заканчивал Каховский, —великодушный Государь, отторгнувшие меня от моего монарха.

«Желаю верить, что вы, Государь, облегчите участь народа русского, вышним промыслом вверенного».

«Государь! я не умею, не могу и не хочу льстить; *со вчерашнего вечера я полюбил вас, как человека*, и всем сердцем желаю любить в вас моего монарха, отца отечества.

«Вы ко мне милосерды, ваше великодушие меня обезоруживает: вы умели уже несколько меня привязать к себе. Но, Государь, что я? 50 миллионов ждут вашей благости, ждут от вас своего счастия. Какое поприще для вашей славы, для вашего величия»!

Для человека, сильно и тонко чувствующего, великодушие царя, которого только что собирался предать смерти, было действительно мучительно. Оно не только обезоруживало, оно вызывало сильнейшие мучения совести. Отметим, что Каховский не решился с самого же начала признаться в своем сокровенном замысле. Он поистине чувствовал себя преступником перед человеком, который в первый же час разговора сумел привязать его к себе. Каховский был, по собственному его выражению, растерзан милосердием к нему государя. Единственное оправдание, единственное духовное утешение в случившемся он видел лишь в бескорыстии и чистоте помыслов, в глубине своей приверженности к благу родины.

Царственные заботы о Каховском были вознаграждены, и сыск, произведенный «отцом отечества», принес благие плоды. Преступник в порыве благодарности и изумления перед мнимым величием души не отказал царю в признаниях и открытиях. Он открыл цели общества. «Скрытые намерения общества, — писал он в первом показании, — заключались в том, чтобы даровать каждому гражданину право собственную и личную безопасность оградить законами... В душе считал себя честным. Личного намерения я не имел, все желания мои относились к отечеству моему. Положение государства приводило меня в трепет: финансы расстроенные, отсутствие справедливости в судах, корыстолюбие, уничтожение внешней коммерции, все сие предшествовало в глазах моих полному разрушению. Одно спасение полагал я в составлении законов и принятии оных непоколебимым вождем, ограждающим собственность и лицо каждого». Вспомним, что под законом Каховский разумел конституцию. «В здравом смысле, — говорит он в одном из своих писем, — *закон есть воля народная!*» Каховский открыл ближайшие планы общества, между прочим, план предполагавшегося занятия дворца Якубовичем. Наконец, он назвал членов общества, как принятых им, так и известных ему. Он заявил, что им приняты: Сутгоф, Панов, Кожевников, Глебов. Сохранившиеся официальные документы не передают, очевидно, всех признаний и открытий, сделанных Каховским: часть их не была положена на бумагу. Но заметим теперь же — его открытия не могли быть так подавляющи и всеобъемлющи, как, например, сделанные князьями Трубецким и Оболенским, Рылеевым. Впрочем, для объективной оценки дей-

ствий Каховского это указание не имеет значения. Но Каховский умолчал об одном очень важном обстоятельстве. Он не открыл ничего о намерениях общества устранить царствующую фамилию и о своей роли в вопросе о цареубийстве. Для Николая и его следователей как раз этот пункт и представлялся самым существенным.

Больнее всего для Каховского было назвать других членов общества, в том числе и принятых им. 21 декабря Каховский писал генералу Левашову: «Государь император чрезмерно милосерд ко мне; я не имею слов благодарить его за милостивое его ко мне внимание. Положение мое облегчено: он позволил мне писать к моим родным[56]. Ваше превосходительство! есть несчастные жертвы, которых я губитель; они меньше меня виноваты, я увлек их, а положение мое облегчено, и не могу разделить с ними одной участи: это мучительно! Ваше превосходительство! я прибегаю к вам с моею просьбою сделать милость доложить его величеству: я с радостью отказываюсь от всех льгот, отказываюсь писать к родным моим и прошу одной милости: чтобы облегчили судьбу Сутгофа, Панова, Кожевникова, Глебова. У них у всех многочисленные семейства, которых я убийца. Панов имеет невесту, он помолвлен, посудите об его положении! Ваше превосходительство, вы имеете сердце, не отриньте мольбу мою. Государь милосерд; если он сострадателен ко мне, преступнику, то я надеюсь, по вашему ходатайству, он не откажет облегчить положение менее меня виновных».

Смертные муки он переживал в крепости, вспоминая о своих признаниях. И они стали особенно тяжелы, когда он увидел, что грозят серьезнейшие кары и наказания, о которых он как-то не думал в первые месяцы. Нужно отметить, что признания были исторгнуты после каких-то уверений и ручательств, данных ему властями. 14 марта, отвечая на вопросы комитета, Каховский писал: «если что показывал, показывал истину; не для спасения своего, *но после ручательства обер-полицеймейстера и некоторых господ генералов и офицеров во дворце;* я был тронут до глубины сердца мягкостью обхождения господина генерал-адъютанта Левашева и милосердием государя императора». А 19 марта Каховский писал Николаю: «Простите, великодушный Государь, что я преступник и смею еще просить вашей милости. *Увлеченный чувствами, я сделал открытие о тайном обществе, не соображаясь с рассудком, но по движению сердца, к вам благодарного;* и, может, то сказал, чего бы не открыли другие члены оного. Я — преступник перед вами, преступник перед обществом, перед людьми несчастными, мной в него принятыми. Легко

погибнуть самому, но быть причиной гибели других — мука нестерпимая. Я, растерзанный, у ног ваших, умоляю: Государь! спасите несчастных! Свобода обольстительна: я, распаленный ею, увлек офицеров лейб-гвардии Гренадерского полка поручиков: Сутгофа, Панова, подпоручика Кожевникова, прапорщика Жеребцова и генерального штаба прапорщика Палицына. Коллежский секретарь Глебов знал о существовании общества, но не принадлежал к оному. Все сии люди имеют семейства, отцов, матерей, а я стал их убийцею. Не зная меня, они были бы счастливы. Государь, вы сами отец, вы человек, посудите страдание несчастных, невинных семейств. Обманутый Рылеевым, я и их обманывал. Я — злодей ужасный, всему причиною; пусть на мне кончатся их мучения; а они, исполненные благодарностью, могут быть полезнее вам, отечеству и заслужить свое неблагоразумие. Спасите их, великодушный Государь! Я умру, благословляя милосердие вашего императорского величества. Может быть, выражения мои неприличны, Государь, дерзок поступок, что осмелился писать к вашему величеству. Простите мне то: я не рожден у двора, а последовал движению сердца».

Мучительные опасения за судьбу выданных им товарищей сменялись угрызениями совести, нечистой по отношению к царю. Каховский метался во все стороны. Памятником этих душевных волнений остались следующие строки, набросанные вскоре после первого допроса - свидания: «Государь! я сделался пред вами преступником, увлекаясь любовью к отечеству. Я никогда не мог принадлежать никакому обществу. Я никогда ничего не желал себе. Я принадлежу благу общему и всегда готов запечатлеть любовь мою к отечеству последней каплей крови моей. Намерения мои были чисты, но в способах я вижу заблуждение. Не смею просить вас простить мое заблуждение; я и так растерзан вашим ко мне милосердием. Я не способен никому изменять; я не изменял и обществу, но общество само своим безумием изменило себе...

«Государь! от вас зависит благоденствие наше, мы вам вверены; я отдаюсь вам, я ваш. Есть существо, проницающее в изгибы сердец человеческих, оно видит, что я говорю истину — я ваш! И благом отечества клянусь, я не изменю вам! Мне собственно ничего не нужно; мне не нужна и свобода; я и в цепях буду вечно свободен; тот силен, кто познал силу человечества. Честному человеку собственное убеждение дороже лепета молвы. Я не говорю за себя: Государь! есть несчастные, которых я увлек; спаси их, великодушный монарх! Спаси детей твоих; клянусь, они чисты.

«Желал бы еще раз, Государь, говорить с вами. Мне дорого благоденствие отечества, я не ищу беспорядков и крови. Положитесь на меня, не обману вашу ко мне доверенность».

Второе свидание - допрос состоялось 18 декабря. Затем потянулись долгие месяцы заключения и нравственных пыток. Красноречивы и ярки приведенные нами свидетельства о моральных страданиях Каховского. Лучи царского милосердия, обольстившего его, скрылись внезапно и безвозвратно. Осталась вера в искренность реформаторских намерений Николая. Каховский написал ряд писем—генералу Левашову и самому царю. Левашову он писал 24 февраля, 5, 14 марта. В этих письмах, которые он просил довести до сведения государя, он изложил свои взгляды на настоящее России и на меры к исправлению неустройств. По этим письмам мы характеризовали выше общественные взгляды Каховского. Царю он писал на другой день после первого свидания — 16 декабря, затем — 19 марта, 4 апреля. Общее содержание писем к царю — резкая критика существующего строя, выяснение причин, создавших тайное общество, смелое и несомненно казавшееся Николаю дерзким обличение политики покойного Александра, характеристика того Николая Павловича, который был известен декабристам, и, наконец, горячие призывы о необходимости учреждения законов, о необходимости конституции. Мы знаем теперь Николая Первого, знаем, как он относился к конституциям, ко всякому малейшему проявлению свободной мысли. И мы можем оценить то неизмеримо грустное и трогательно-смешное положение, в которое попал Каховский с своими призывами к конституции, обращенными к императору Николаю. Ведь Каховский хотел убедить царя — ни много, ни мало — в том, что и он, царь, на его месте не поступил бы иначе, а тоже стал бы заговорщиком и вышел на площадь. Ему, державшему под гнетом беспредельного самодержавия Россию больше четверти века, Каховский доказывал необходимость ограничения абсолютизма, ссылаясь на его собственную психологию! Он-то не знал этого, мы знаем.

Но Каховский говорил царю смелым и сильным языком. Больше уж никогда не слышал Николай таких смелых и дерзких речей, таких горьких и обидных истин. Он решительно мог почесть за обиду некоторые фразы Каховского: «Простите, Ваше Величество, я буду совершенно откровенно говорить: искренность моя есть мое к вам усердие. Вы были великим князем, мы не могли судить о вас иначе, как по наружности; видимые ваши занятия были

фрунт, солдаты, и мы страшились иметь на престоле полковника». Каховский задевал самое больное место Николая; действительно, весь цвет, все наслаждение жизни для Николая Павловича—во фрунтовых занятиях. Он жизни не мог представить без них. И вдруг он читал в письмах Каховского следующие тирады: «доложу Вашему Величеству, что весть о смерти императора Александра поразила людей либеральных и благонамеренных; можно сказать, при сем известии общие слова были: «вот в каком мы положении, что императора Александра жалеть должны!» Так, Государь, мы равно страшились всех его наследников, — причина сему вам должна быть известна; я только доложу вам, что и самые люди, к Вашему Величеству преданные, не оправдывают в вас страсти к фронту. Сие занятие государей наших в глазах всего народа уже сделалось ненавистно. Самые войска чрезмерно тяготятся им и ужасно ропщут. При учении солдат иногда вырываются такие изречения, которые, распространяясь по государству, вооружают сердца и умножают ропот. Ваше Величество! Если бы вы знали, сколь много вы повредили себе в общем мнении сим занятием! Обиженное честолюбие успокоить трудно—и какие вести, какие слухи носились по государству! От вас зависит теперь судьба пятидесяти миллионов людей, и я усердно желаю, Государь, чтобы вы предпочитали приятное полезному».

Очень резкой критике Каховский подверг личность покойного Александра и его политику. Он считал его настоящим врагом отечества и «истинной причиной восстания 14 декабря». «Не им ли, — писал Каховский, — раздут в сердцах наших светоч свободы, и не им ли она была так жестоко удавлена не только в отечестве, но и во всей Европе»?.. «Быстро двинув умы к правам людей и вдруг, переменив свои правила, осадил их и тем произвел у нас все заговоры и скопища». Александр обманул свой народ. «В 25-летнее царствование покойного императора было время и смутное, но большая часть оного было время мирное. Кончилась война с Наполеоном; мы все надеялись, что император займется внутренним порядком в государстве; с нетерпением ждали закона постановительного и преобразования судопроизводства нашего; ждали и что ж? Через 12 лет ожидания лишь переменилась форма мундиров гражданских». Каховский резко упрекал Александра в том, что он предпочитал побывать у развода, чем посетить высшее правительственное место империи — сенат. Обратить внимание на образование армии и не заниматься устройством государства я нахожу столь же гибельным для государя и отечества, как для человека частного, обратившего все его внимание на одежду и наружность свою и не старающегося об

образовании внутренних своих качеств. Александр, по мнению Каховского, совершенно не желал вникнуть в положение народа. Он смотрел лишь войска и не хотел видеть, что встречи, устраиваемые ему, — чисто декоративного характера. Целый ряд обвинений высказан в письмах Каховского по адресу покойного государя. Обвинения были общераспространенны, но Николай, должно быть, впервые выслушивал их в такой яркой форме.

Пожелания Каховского сводились к заявлению о необходимости «постановительного закона», т.-е. конституции. В каждом своем письме Каховский неоднократно твердил с воодушевлением и страстью о необходимости для блага русского народа дать конституцию.

«Государь! — писал он в первом же своем письме 17 декабря. — Верьте, я не обману вас! Могу ошибиться, но говорю, что чувствую: невозможно итти против духа времени; невозможно нацию удержать вечно в одном и том же положении; зрелость дает ей силу и возможность; все народы имели и имеют свои возрасты. Благодетельные правители следовали по течению возмужалости духа народного и тем предупреждали зло».

19 марта Каховский писал: «Цари самовластные много благ творят в частности; и покойный император много раздавал денег, орденов, чинов, но составляет ли это пользу общую?.. Нет, Государь! Не в частности надо благотворить, но благотворить всему народу, и правление будет счастливо и покойно, безмятежно»... «Ради Бога, ради блага человечества, собственного вашего блага, оградите себя и отечество законом. Вам предстоит славное поприще! Дайте права, уравновесьте их и не нарушайте; водворите правосудие, откройте торговлю, покровительствуйте истинное просвещение — и вы сделаетесь другом и благотворителем народа доброго».

14 апреля Каховский вновь взывал к Николаю. «Дай Бог, чтобы вы, милосердый государь, основали благоденствие народное, властвовали не страхом, а любовью, и тогда наверно отечество будет счастливо и покойно».

Каховский указывал на то, что без «постановительного закона» царь не найдет поддержки ни среди окружающих, ни в войсках, ни в церкви. Все эти опоры шатки. Он бросал в лицо Николаю ядовитые сарказмы: «как вы думаете, государь, если бы вас не стало, из окружающих теперь вас много ли бы нашлось людей, которые истинно о вас пожалели?» С иронией Каховский отмечал, что «не солдаты составляют силу и опору тронов, и те обманываются, которые думают, что можно оградить себя штыками». «Ошибаются и те, которые полагают, что алтарь — опора трона вашего. 14 декабря доказало противное».

Каховский думал обольстить Николая историческими перспективами, раскрывающимися перед русским монархом, уничтожившим самодержавие. «Государь, вы один можете не только в отечестве, и во всей Европе переменить систему правления, спасти троны и равно принести пользу и царям, и народам». В письме к Левашеву он пробовал указать этим глухим душам на суд истории. «Исчез обряд судить народу умерших царей своих до их погребения. Но история передает дела их на суд беспристрастного потомства. Не все историки подобны Карамзину. Деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца — Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства. Он возвестит им истину: и благословения, и проклятия потомков обнаружат дела, поразят и украсят венценосцев».

Глас вопиющего в пустыне!

Как относился к письмам Каховского сам Николай? Он не мог не оценить их дерзости и смелости. Положительную часть он оставлял без внимания. Впрочем, он не прочь был послушать речи о недостатках государственного управления, но при одном непременном условии, чтоб эти речи раздавались только для него одного, а оратор находился в это время за семью замками. Так было с Каховским и другими декабристами, писавшими ему из крепости. Но самая замечательная иллюстрация этого болезненного любопытства Николая выслушивать ту правду, за которую он посылал на виселицу и на каторгу — история декабриста Корниловича. Он был перевезен с каторги в Петропавловскую крепость и здесь в течение нескольких лет давал письменные разъяснения по всем вопросам, касающимся государственной жизни России, какие только угодно было задавать Николаю Павловичу и Бенкендорфу. Быть может, Николай, действительно, извлекал из их ответов практические выводы, но о том, как он в душе относился к откровенным и искренним письмам декабристов, достаточно ярко свидетельствует следующая замечательная резолюция, положенная им на просьбе Г. С. Батенкова о разрешении ему писать Государю: *дозволить писать, лгать и врать по воле его* [57]. Необходимо отметить, что резолюция положена 30 марта 1826 г., т. е. тогда, когда весь материал следственный был собран, и декабристы не нужны уже были Николаю.



Следствие. — Суд. — Смерть.

Но следствие подвигалось вперед, выяснялись помыслы декабристов об истреблении фамилии, становились известными все фразы и восклицания, когда-либо сказанные по этому делу. Для царя и его следователей очень скоро выяснилось, что Каховский не учинил полного признания. Прикосновенность его к неосуществленным замыслам о цареубийстве обнаружилась уже в самом начале следствия, рельефнее всего из показаний Штейнгеля. А относительно убийств, совершенных Каховским, комиссия получила совершенно определенные указания от его товарищей в самом конце декабря и январе: Штейнгель заявил об убийстве Каховским Милорадовича, Одоевский — Стюрлера, Кюхельбекер — о нанесении ран свитскому офицеру.

Каховский умолчал о своей роли в замыслах на цареубийство и о своих покушениях. Причину запирательства объяснить не трудно. Мы уже выяснили, в какое положение он был поставлен царем. «А нас всех зарезать хотели!» — услышал от него Каховский. О покушениях, не оправданных успехом восстания, ему, конечно, очень тяжело было говорить. Но главное, ведь он не приносил раскаяния: подкупленный обращением Николая, он открыл дела общества, переименовал некоторых участников — и только. Показания о цареубийстве могли бы, как это и было впоследствии, запутать слишком многих, а о покушениях Каховский мог и не говорить, полагаясь на скромность товарищей. Мы уже осветили несколько переживания Каховского в тюрьме. Они были ужасны. Его мучительно волновало и то, что он сказал что-то, и то, что он не сказал всего о цареубийственных замыслах. К этим мучениям присоединились вскоре еще новые. Он увидал, что люди, столь близкие ему по делу, докладывают комиссии о самом сокровенном и самом преступном. Сокровенны — эти замыслы, участниками которых были многие; преступны — убийства на площади. Когда рассказывали о целях общества, то, кажется, верили, что за это могут быть лишь незначительные наказания.

А тут вдруг убийства, в которых повинен Каховский, а больше никто. Можно понять, что в рассказах о совместных действиях трудно было иногда удержаться от оговоров, но зачем же было оглашать действия отдельного лица? Но этого мало: на очных ставках, в показаниях Каховский вдруг увидел то, чего уж он никак не ожидал видеть: некоторые из товарищей перед комитетом доказывали, что они гнушаются поступков Каховского: у одних, быть может, это был искренний результат прекраснодушия, у других это вызывалось желанием выиграть расположение следственной комиссии. Но умышленное или сознательное третирование казалось чем-то вопиющим Каховскому. Его, русского Брута, которого братски целовали перед совершением подвига, назвать убийцей!

Такое поведение товарищей страшно раздражало и волновало Каховского. Сдержанный в самом начале, он становился все нервнее и нервнее; ноты раздражения в его показаниях слышались все чаще и чаще. Не забудем его особенности доводить все до пределов. до конца.

Необходимо отметить метод его показаний перед комиссией. Он начал с полного отрицания, на первом же допросе отозвался полным неведением. Но, настойчиво отрицая реальный факт, он не осмеливался устранить и принципиальную возможность. Наоборот, в то время, как его и не спрашивали о принципиальной возможности, он сам выставлял ее на вид. Его спрашивают по поводу несомненно им совершенных поступков: «вы это сделали?», а он отвечает: «нет, совсем не я, но я мог это сделать!» «Если бы видал, что успех зависит от смерти Милорадовича, то не остановился бы оную произвесть». И точно в нем было два я, два человека: один был непоколебимо убежден, что для пользы общей нет преступления, и что убийство тирана — высший подвиг, а другой боялся сознаться (быть может, даже самому себе), что на Сенатской площади декабря 14 дня он собственноручно умертвил военного губернатора города С.-Петербурга, Милорадовича, тяжело ранил командира лейб-гренадерского полка Стюрлера и нанес легкие поранения штабс-капитану Гастеферу. Один Каховский готов принять какое угодно наказание за свое принципиальное согласие на известный акт, даже убийство, а другой Каховский гонит всякую мысль о каре за конкретный поступок. Каховский как-то не хотел понять, что высший подвиг любви к свободе необходимо реализуется в конкретном покушении на определенное лицо. И знаменательно то, что он и умер с верой в силу этого подвига. В этом его отличие от других декабристов: другие (Оболенский, Трубецкой, Рылеев) ясно ощутили эмпирическую сторону подвига и отказались от своих дерзновений: «по человечеству нельзя», —

так решали они. А Каховский признал, что в данном случае энергия была затрачена напрасно, но что «подвиг»-то не только возможен, но и необходим в иных случаях и должен быть. «Рылеев, — пишет Штейнгель, — объяснил о намерении Каховского другим членам общества, и из них некоторые ужаснулись самой мысли». А Каховский превзошел этот ужас и до конца дней своих остался неисправимым романтиком. Античная идея о низвержении тирана воскресла в Каховском, но не умерла в нем.

Когда комиссия убедилась, что Каховский не намерен открывать всего, им совершенного или только известного, она оставила его в покое, с тем, чтобы, добыв весь следственный материал, неопровержимо уличить Каховского. При этом Николай и комиссия сочли себя, конечно, в праве освободить самих себя от предупредительности по отношению к Каховскому. Мы уже знаем, что после признаний Каховского Николай Павлович приказал «Каховского содержать лучше обыкновенного содержания, давая ему чай и прочее, что пожелает, но с должною осторожностью», и принял содержание его на свой счет. Нам известно также, что на первых порах Каховскому было разрешено переписываться с родными. Но, очевидно, очень скоро отношения властей к нему переменились. Из списка, составленного в середине февраля 1826 года, видно, что Каховский был одним из тех, кому ***переписка была запрещена***. А когда уже в июне Каховского запросили, как и чем он думает заплатить свой долг портному, он в ответ ходатайствовал о разрешении написать к своему родному брату о присылке ему денег. Ему ответили решительным отказом. Можно с полной достоверностью думать, что за все время заключения Каховский не имел не только личных, а даже письменных сношений с кем бы то ни было, кроме своих следователей.

Такая же история вышла — надо думать — и с «повеленным ему лучшим содержанием». Табак, который бы должен был быть отпускаем в числе прочего, что пожелает Каховский, за счет государя, был во всяком случае приобретаем им за свой счет. Из ведомостей плац-адъютанта Подушкина, заведывавшего «комиссиями» арестованных и — кстати сказать — не мало при этом попользовавшегося, видно, что он получил из отобранных у Каховского при аресте восьмидесяти пяти рублей на покупку для него табаку в разное время сорок три рубля 50 коп. [58]. Оставшаяся после смерти Каховского сумма в 41 руб. 50 коп. была впоследствии выдана его брату. Можно поверить сообщению Завалишина, что Каховский находился как бы в постоянной пытке, потому что его больного держали в сырой яме [59].

После первых больших допросов и признаний Каховского комитет тревожил его только небольшими допросами по отдельным пунктам. 3 января он отвечал по вопросу, что он знал и передавал Сутгофу о касательстве к обществу высших лиц: Мордвинова, Сперанского, Ермолова. Затем Каховского спрашивали о принадлежности к обществу Глебова. 14 марта на допросе Каховскому были предъявлены показания Штейнгеля о его роли в разговорах о цареубийстве, и Каховский должен был понять, что следователям его участие известно. Каховский отрицал свою инициативу и показывал, что он «готов был всегда принести себя в жертву и для пользы отечества не видал преступления. Но никогда бы не решился убить государя, в точности не уверял в необходимой к тому потребности для блага общего». Разоблачения Штейнгеля ставили Каховского в ужасное положение. Процесс переходил с почвы фактов в область пылких мечтаний, горячих речей, страстных фраз. Приходилось или сознавать недостаточность своих прежних показаний, или же впутывать и выдавать тех самых лиц, которые взводили на него обвинения. Каховский решил запираться: он готов был признать все, что ни предъявят ему, лишь бы его не расспрашивали и скорей вынесли приговор. Мучительно читать его ответы комиссии. 14 же марта Каховский заканчивал свой ответ: «Показания мои так истинны, как свят Бог! Я не жил увертками и умру с чистой душой. Не желаю зла и Рылееву; я ему несколько обязан: он долго был моим приятелем; но меня вынудили говорить, чего бы я не хотел. Довольно несчастных! Переговаривать чужие пустые слова, которые были говорены, как говорится всякий вздор, я не могу. Пусть что хотят на меня показывают, я оправдываться не буду; и если что показывал, показывал истину; не для спасения своего, но после ручательств обер-полицеймейстера и некоторых господ генералов и офицеров во дворце; я был тронут до глубины сердца мягкостью обхождения господина генерал-адъютанта Левашева и милосердием государя императора. Более я ничего не знаю и прошу одной милости — скорого приговора».

Следующий вопросный лист комиссии предлагал ответить детально, когда, с кем и где говорил Каховский о намерении общества истребить царствующую фамилию; каким образом он предлагал совершить сие, кто соглашался с ним в этом пункте. На эти вопросы Каховский отвечал: «Цель общества была: основать правление народное, что было известно всем членам оного. Выдергивать людей поодиночке я не могу; каждый может сам на себя показать. Я предлагал, чтоб итти прямо ко дворцу, назнача к тому час в ночи, и занять оный. Рылеев с сим не согласился,

сказав: «солдаты прежде объявления присяги не пойдут и после оной тоже». С занятием дворца, конечно, царствующая фамилия или была бы истреблена, или арестована. В показании я невольно увлекся и стал вдвойне преступник. Ради Бога, делайте со мной, что хотите, и не спрашивайте меня ни о чем. Я во всем виноват; так ли было говорено, иначе ли, но мое намерение и согласие было на истребление царствующей фамилии».

После этих допросов и явного запирательства комитет оставил Каховского надолго в покое: очевидно, он хотел собрать подавляющие против него улики и обрушиться на него разом. 3 мая была дана очная ставка кн. Одоевскому и Каховскому. Одоевский утверждал, что он слышал, как сам Каховский говорил, что ранил Стюрлера. На очной ставке Каховский решительно отказывался от своих слов. 2 мая Каховскому предъявили показание Штейнгеля, рассказавшего комиссии о сцене, происходившей вечером 14 декабря у Рылеева. Каховский признал только то, что он действительно стрелял в Милорадовича, но вместе с другими: чья пуля сразила Милорадовича, он, конечно, не может сказать: «кажется, я достаточно имел честь прежде сего объяснить высочайше учрежденному комитету все, что касается до убийства графа Милорадовича. Но если нужно повторение, повторяю: я выстрелил по Милорадовичу, когда он поворачивал лошадь; выстрел мой был не первый; по нем выстрелил и весь фас каре, к которому он подъезжал. Попал ли я в него или кто другой, не знаю. — Делал я мои показания без вынуждения и не из боязни. Вынудить меня говорить противное никто и ничто не в силах. Если я лгу, зачем меня спрашивать? Ломаться, как кн. Одоевский, и не умею, и не хочу; ему допущено было говорить на меня всякий вздор, и не принадлежащий к делу. Он меня не мог оскорбить, не обижает ли более самого себя? Я хранил молчание из уважения к месту; и хотя многое хотел сказать против слов князя Одоевского, но мщение для меня низко. Одно лишь могу сказать, что я не узнаю его или никогда не знал его, хотя в продолжение года редкий день проходил, чтобы мы не видались. Совесть моя принадлежит собственно мне — ее вполне судить может один Бог. Умереть, каким бы образом ни было, я умею. Просил и еще покорнейше прошу не спрашивать меня ни о чем и делать со мною все, что заблагорассудится. Не желаю противиться нимало власти; но, как мои слова будут лишь повторение одного и того же, я решился молчать и ни на что возражать и отвечать не стану».

Но на очной ставке с Штейнгелем (3 мая) Каховский отрицал правдивость рассказа Штейнгеля. Тогда комитет передопросил Рылеева, который подтвердил сказанное Штейнгелем. «Да, Ка-

ховский вечером 14 декабря, будучи у меня в доме, говорил, что он убил Милорадовича и ранил свитского офицера», — показал Рылеев. На очной ставке с Рылеевым (6 мая) Каховский имел еще силы отрицать показание Штейнгеля и Рылеева. Рылеев дал подробные объяснения о своем знакомстве с Каховским; в начале работы мы приводили обширные из них выдержки. Отстраняя свое участие в замыслах на цареубийство, Рылеев выдавал головой Каховского. В ответ на эти изветы Рылеева Каховский разразился целым рядом обвинений против Рылеева; на новой очной ставке 8 мая не произошло никакого соглашения между Рылеевым и Каховским. Они оба остались при своих показаниях. 10 мая на очной ставке с Кюхельбекером Каховский не сознался в том, что он ранил свитского офицера.

Но дальше нервы Каховского не выдержали. Запираться было мучительно. 11 мая он написал генералу Левашеву письмо с полным признанием. Два дня это письмо пролежало у него в камере. Каховский, очевидно, колебался. Наконец 14 мая он написал новое, более подробное признание и, приложив к нему первое письмо, подал его Левашеву.

Комитет мог считать себя удовлетворенным. Один из самых закоренелых преступников дал сознание, лучше которого комитету и желать было нельзя. Тяжело читать признание Каховского: слишком уже обнажил он свою душу. Его изобличения по адресу Рылеева, Штейнгеля и других не возмущают нас. После продолжительной тягостной борьбы с самим собою Каховский заплатил им тою же монетой: он рассказал о них то же, что они сообщали о нем. Возмущают не изветы Каховского, а крайнее обнажение души. Оно кажется ненужным и бесцельным, но уж таков был Каховский: во всем, что он ни делал, он доходил до последних глубин.

Каховский начал свое первое письмо к Левашову следующим образом:

Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь!

Простите, что до сих пор я имел низость обманывать Ваше доброе обо мне мнение. Участие Ваше глубоко впечатлелось в моем сердце, и мне совестно лгать перед Вами. Очные ставки никогда бы не могли меня заставить сознаться; они лишь раздражают самолюбие; раз сделанное показание, конечно, каждый старается удержать и притом показатели, столь низкие душой, будучи сами виновными и в намерениях, а некоторые и в действиях, не устыдились оскорблять меня в присутствии комитета,

называя убийцею... делают от себя столько прибавлений и прибавлений, не согласных с моими правилами, что они меня ожесточили. Я чувствую сам преступления мои, могу быть в глазах людей посторонних злодеем, но не в глазах заговорщиков, разделявших и действия, и намерения. Без оправданий я убил графа Милорадовича, Стюрлера и ранил свитского офицера. Кюхельбекер говорит несправедливо, я ударил офицера не из-за спины, но в лицо; он не упал и не мог приметить, кто ударил его, это было мгновение — я опомнился, мне стало его жаль, и я его отвел в каре. Насчет показаний об убийстве государя императора, — все ложь! Я не желаю никому несчастья, Бог тому свидетель! — На меня говорят, что я вызывался убить, что стращал открыть общество, что я соглашался резать; но все сие несправедливо. Поверьте, я не стану клеветать, мне необходимо погибнуть — неужели я желаю увлечь других! Я мог быть злодей в исступлении, но в груди моей бьется сердце человеческое...»

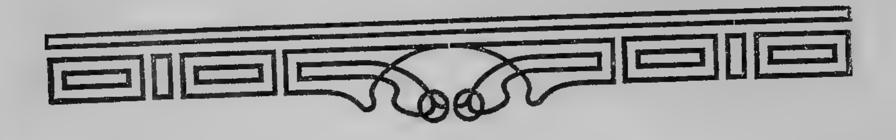
Моментами в сознании Каховского отодвигалось на дальний план главное призвание его жизни. Он как будто забывал о нем и начинал каяться и рассуждать, как обыкновенный человек. Он не раз называет свой поступок преступлением. Но мы уже подчеркивали отношение Каховского, как оно окончательно сложилось, к подвигу своей жизни. Каховский мог быть преступником в глазах государя и следователей — он сознавал это. Он мог быть преступником в глазах общества, но из только что приведенной цитаты мы видим, что Каховский даже попытку со стороны некоторых своих товарищей оценить его действия, как убийство, считал до преступности невозможной. Был ли он преступником в собственных своих глазах? Нет, нет и нет: среди самых интимных своих раскаяний он все же утверждает, что для блага родины он не видит преступления.

Тяжело было положение Каховского: в последние месяцы своей жизни он отторгся от своих друзей и товарищей по делу. Как бы забывая о том, что он и сам повинен в изветах и оговорах, он с величайшим негодованием протестовал против подобного поведения своих товарищей. «Первое мое письмо, — так заканчивал он свое второе и последнее признание, — к вашему превосходительству я писал и еще щадил тех, которые столь низко мне вредили; но разобрав все, вижу, как они гадки, и говорю откровенно, мной руководствует мщение. Они хотели оклеветать меня и через то спастись — это подло! Вам известны, ваше превосходительство, все мои показания, я более себя открывал и щадил их; и вот какая

а то плата — ложь и клевета! Я не боюсь умереть; мои намерения были чисты, тому Бог свидетель! Заблуждение и пылкость сделали меня злодеем, но подлецом и клеветником меня никто не в силах сделать. Если нужно, чтоб я все сие сказал им в глаза, я согласен; но знаю, что они все запрутся. Сделайте милость, ваше превосходительство, не откажите моим покорнейшим просьбам, чем наичувствительнейше меня обяжите. Участие ваше ко мне мне драгоценно. Я злодей, но будьте уверены, имею чувство и умею быть благодарным».

Каховский просил о позволении написать родным: этого позволения ему не дали.

Всю жизнь Каховский был заброшенным и одиноким. Мечта о подвиге, о призвании Брута скрашивала существование. Но судьба безжалостной рукой разбивала надежды Каховского. В начале заключения мелькнула надежда, что счастье родины, во имя которого он вышел на борьбу, будет устроено императором, но эта иллюзия быстро разлетелась в пух и прах. Оставались еще наслаждения взаимной заговорщической верности и дружбы. Но грубо было рассеяно и это утешение. В тех, кто поистине должны были бы быть последними друзьями, Каховский увидел врагов, и вот в последние месяцы, последние дни своей жизни Каховский попрежнему был заброшенным и одиноким. Процесс растерзал его душу. Тоска и одиночество заволакивали его существование.



История процесса декабристов в общих чертах известна. К 30 мая следственная комиссия закончила следствие по делу декабристов и представила свой доклад царю. 1 июля последовал Высочайший указ о назначении Верховного Уголовного Суда. В указе было сказано: «Мы единого от Суда ожидаем и требуем: справедливости нелицеприятной, ничем не колеблемой, на законе и силе доказательств утверждаемой». Верховный Уголовный Суд был составлен из членов Государственного Совета, Правительствующего Сената и Святейшего Синода и нескольких сановников. Председателем Суда был назначен князь Лопухин, министр юстиции исполнял обязанности генерал-прокурора. Сам Николай I и современное правительство гордилось организацией суда, якобы совершенно независимого в своих действиях. На самом деле весь ***Верховный Уголовный Суд явился чистейшей комедией.*** Со слов декабристов мы давно уже знали об этом, но и изучение архивного материала дает нам право с легкой совестью поддерживать это заключение.

Еще в начале мая, т.-е. задолго до окончания действий следственной комиссии, Николай Павлович занялся разработкой тщательной программы судопроизводства. Как и при следствии, так и в Суде Николай был непосредственным руководителем и вдохновителем всех действующих в следственном и судебном процессе лиц. Прямым его помощником в работах по организации Суда — тяжело и печально констатировать это — явился М. М. Сперанский [60]. Это он разработал процессуальную сторону, он приготовил все доклады Суда и комиссий, Судом выбранных, он распределил по разрядам вины обвиняемых. О том, как идет дело в Суде, он лично докладывал Николаю Павловичу. Николай Павлович вместе со Сперанским составил «обряд суда»; в «дополнительных степенях обряда» и в указаниях, которые были сделаны секретно председателю Суда, были предусмотрены все действия Суда. Можно положительно утверждать, что члены Суда этими «обрядными»

статьями, гласными и негласными, были лишены собственной мысли, воли, и, конечно, инициативы. В первых пяти заседаниях Суд прочел доклад следственной комиссии и записки о подсудимых. Затем предстояло решить вопрос, как же проверить данные следствия; предстояло допросить подсудимых и свидетелей. Но «независимый» Верховный Уголовный Суд не получил от царя права входить в более тесные отношения с обвиняемыми и даже права фактической проверки следствия. В «обрядах» было указано, что, по прочтении следственного материала, Суд должен выбрать ревизионную комиссию, которая и должна была произвести «надлежащее положенное законами удостоверение в следствии». Круг действий этой комиссии был точно определен Николаем Павловичем. Члены комиссии отнюдь не должны были вступать в разговоры с обвиняемыми. Только три вопроса должна была предъявить ревизионная комиссия каждому подсудимому: 1) его ли рукой подписаны показания, в следственной комиссии им данные, 2) добровольно ли подписаны показания, 3) были ли ему даны очные ставки. «Токмо эти вопросы», никаких других — так было сказано в секретном, предназначавшемся только для председателя суда документе. Понятно, ни один из декабристов, выслушав эти три вопроса, не догадался, что этой формальностью начался и кончился для него «Верховный Уголовный Суд».

8 и 9 июня член комиссии отобрал от всех подсудимых ответ, и 10 июня Суд выбрал новую комиссию для распределения виновных по разрядам. В нее вошли гр. П. А. Толстой, г.-ад. Васильчиков и Сперанский; гр. Кутайсов, Баранов, Энгель, Кушников, бар. Строганов и гр. Комаровский. Главным деятелем был М. М. Сперанский. Под его руководством комиссия «определила главные роды преступлений, отличила в каждом роде все его виды и, оставив их в порядке постепенности, из сложения и сопряжения их произвела начала разрядов».

28 июня донесение комиссии по распределению разрядов было прочитано в Суде; 2 июля Суд выбрал сенатора Козодаева, ген.-ад. Бороздина и опять-таки М. М. Сперанского для составления всеподданнейшего доклада.

9 июля доклад был подписан судом и подан царю. Оставив пятерых (Рылеева, Пестеля, Бестужева-Рюмина, С. П. Муравьева-Апостола, Каховского) вне разряда, Суд, согласно заключению разрядной комиссии, распределил остальных на 11 разрядов. Пяти, стоявшим вне разряда, Суд определил смертную казнь четвертованием. Для 3 человек, принадлежащих к первому разряду, Суд назначил смертную казнь; для 11 разряда — лишение чинов и сдачу в солдаты с выслугой. В докладе Суд, между

прочим, писал: «Хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный Уголовный Суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления, столь высокие и с общею безопасностию государства столь слитные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». 10 июля Николай Павлович утвердил приговор и, заменив первому разряду смертную казнь каторгой, сделал некоторые изменения в приговоре отнюдь не в сторону облегчения участи подсудимых.

А участь поставленных вне разряда предоставил решению суда «и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится». По этому поводу покойный Шильдер писал:

«Сколько в решении, принятом императором Николаем относительно лиц, осужденных верховным уголовным судом, принадлежит собственному побуждению, и какую роль играло в этом деле постороннее влияние, нескоро еще определится с достаточною ясностью. Рассказывают, что когда князь Лопухин представил приговор суда, то государь заметил: «офицеров не вешают, а расстреливают», не желая поступить с ними, по его выражению, как с ворами; но ген.-ад. Бенкендорф будто бы настаивал на пользе примера позорного наказания[61].

Покойный Шильдер оказался слишком пристрастен к своему герою. В делах государственного архива, при некотором внимании, он мог бы найти данные, не оставляющие никакого сомнения в том, что вся инициатива решения суда лежит на Николае Павловиче и только на нем. И тут, расставаясь с своими «преступниками», Николай Павлович не мог не разыграть ***комедии милосердия.*** Он в указе по поводу доклада суда явился милосердым: смягчил наказания почти всем, а судьбу поставленных вне разрядов он предоставил решению суда. Казалось бы, если суд все же присудил их к смерти, то в смерти их винить должны мы суд, а не Николая I. В действительности же было как раз обратное.

Сохранилась записка, писанная 10 июля 1826 года — в день представления доклада председателем верховного суда кн. П. В. Лопухиным, следующего содержания: «Государь изволил отозваться, что доклад и все приложения просмотрит и даст по оному свое повеление, но тут же присовокупил, что если ***неизбежная смертная казнь*** кому подлежать будет, ***государь ее сам не утвердит,*** а уполномочит верховный уголовный суд окончательно самому разрешить тот предмет».

Получив указ государя о предоставлении судьбы пяти поставленных вне разрядов на окончательное усмотрение суда,

кн. Лопухин одновременно же 10 июля 1826 года получил от начальника штаба барона Дибича следующее примечательное доношение:

«Милостивый Государь
князь Петр Васильевич!

В Высочайшем указе о государственных преступниках на доклад верховного уголовного суда, в сей день состоявшемся, между прочим, в статье 13-ой сказано, что преступники, кои по особенной тяжести их злодеяний не включены в разряды и стоят вне сравнения, предаются решению верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.

На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, Государь Император повелеть мне соизволил предварить Вашу Светлость, что Его Величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и словом ни на какую смертную казнь с пролитием крови сопряженную.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашей Светлости покорнейший слуга барон И. Дибич».

После этой бумаги Дибича нет места сомнениям в инициативе Николая Павловича.



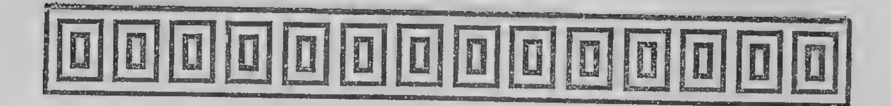
Единственное милосердие оказал Николай Павлович своему подданному Петру Каховскому. Он не пролил его крови, предав казни, с пролитием крови не сопряженной.

13 июля 1826 года на рассвете на валу кронверка Петропавловской крепости Каховский был повешен... [62].

Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, наблюдавший 13 июля 1826 года за исполнением казни над декабристами, в тот же день подал императору Николаю Павловичу следующее донесение [63]. «Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу».

После него остались следующие вещи: фрак черный суконный, шляпа пуховая круглая, жилет черный суконный, косынка шейная черная ветхая, рубашка холстинная и 41 руб. 50 коп. денег.

Вещи и деньги были препровождены 14 декабря 1826 года военным министром смоленскому губернатору для выдачи законным наследникам. 27 ноября вещи и деньги были выданы под расписку дворовому человеку родного брата Каховского.



ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Настоящий очерк основан, главным образом, па материалах, до сих пор не изданных и находящихся в Государственном Архиве. Делая вообще ссылки на архивные дела, мы не делаем детальных ссылок на дело Каховского (Г. А. I. В. № 354) и на письма его (Г. А. I. В. №№ 11 и 470).

2. Г. А. I. В. № 304, л. 124.

3. Г. А. I. В. № 315, л. 140—141, 170, 174—175. Любопытно, что, получив от ген.-губ. Хованского эти сведения, военный министр предложил генерал-губернатору разведать под рукой, не женился ли брат Каховского, так как де по бумагам казненного Каховского (этих бумаг в Государственном Архиве в делах декабристов не сохранилось!) видно, что брат собирался выгодной женитьбой поправить свои дела. По собранным под рукой сведениям оказалось, действительно, что Никанор Каховский женился на дочери генерала Маркова и получил в приданое 170 душ крестьян.

Не являются ли результатом недоразумения следующие неприязненные строки, приписывающие богатую невесту самому Каховскому? «Смоленский помещик, проигравшись и разорившись в пух, он приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте; дело это ему не далось. Сойдясь случайно с Рылеевым, он предался ему и обществу безусловно. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге на свой счет». Из приведенных нами данных видно, что процесс разорения мог длиться лишь весьма непродолжительное время. Строки эти взяты из статьи «14 декабря», напечатанной Герценом в «Записках декабристов» (Вып. 2 и 3. Лонд. 1863 г. Стр. 137—162; перепечатана с сокращениями во «Всемирном Вестнике» 1904 г. №№ 6—7) и приписанной им И. И. Пущину. На самом деле статья эта, как сообщал нам покойный Е. И. Якушкин, написана И. Д. Якушкиным по рассказам Е. П. Оболенского, И. И. Пущина и некоторых других его товарищей ссылки, принимавших непосредственное участие в деле 14 декабря. И. Д. Якушкин записывал эти рассказы спустя некоторое время после того, как их слышал. Этим объясняются некоторые неточности.

4. В июне 1826 года портной Яухци чрез комитет потребовал с Каховского уплаты денег. Жена Рылеева, уплатив долг своего мужа, выразила готовность заплатить и за Каховского. Комитет сделал запрос Каховскому, может ли он заплатить. Это было после 18 июня. Каховский просил позволения написать брату о высылке денег для уплаты. Не ответив на эту просьбу, военный министр, председатель комитета, сообщил чрез спб. ген.-губернатора, что Каховский не имеет средств для уплаты долга. Г. А. I. В. № 301, л. 47—48.

5. Н. И. Греч, «Записки о моей жизни». Спб. 1886, стр. 381—383.

6. Записки И. Д. Якушкина. М. 1905. Стр. 19.

7. См. «Русская Старина» 1874 г., т. XI (февр.), стр. 179—180.

8. «Записки декабристов», вып. 1-й. Записки И. Д. Якушкина. Лонд. 1862 г., стр. 19. В русском издании 1905 г. эти строки цензурой не были пропущены.

9. Г. А. I. В. № 362.

10. См. П. Щеголев. «Первый декабрист Владимир Раевский». Спб. 1905 г., стр. 60.

11. Выражения Боровкова в его «Автобиограф. воспоминаниях». «Русск. Стар.». 1898, т. XCVI, ноябрь, стр. 339.

12. Цитаты взяты из писем Каховского, писанных в крепости.

13. Г. А. I. В. № 387.

14. «Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII и первой половине XIX века» в книге «Крестьянский строй». Т. I. Спб. 1905.

15. Излагая деятельность Каховского по тайному обществу, мы руководимся многочисленными указаниями, сделанными в воспоминаниях декабристов, но главным образом основываемся на официальных данных следствия. Следственный материал всегда сомнителен, и опираться на него можно только после тщательного критического анализа всех данных — за и против. В деле Каховского нужно исходить из последнего признания, сделанного им после продолжительного запирательства 11 и 14 мая. История процесса Каховского будет изложена ниже, но теперь следует указать, что в этом последнем признании Каховский сжигал корабли, объявлял о своем запирательстве и делал сознание. Это признание должно быть сопоставляемо с свидетельствами мемуаров и, только после этого, с показаниями участников в деле. При анализе всяких показаний нужно устанавливать основную тенденцию поведения во время следствия. Признание напечатано в приложениях к книге.

16. «Общ. движ. в первую половину XIX в.». т. I, стр. 243. Оболенский ошибается, утверждая, что он служил в лейб-гренадерском полку.

17. Сочинения К. Ф. Рылеева, ред. М. Н. Мазаева. Спб. 1893 г., стр. 82.

18. Это показание Рылеева опровергается приведенным выше свидетельством Оболенского и словами Каховского.

19. Г. А. I. В. № 334. В дальнейшем ссылок на это дело Рылеева не делаем.

20. «Русск. Стар.» 1888, декабрь, стр. 600.

21. Сутгоф на вопрос о происхождении вольного образа мыслей отвечал: «в 1825 году в феврале месяце г. Каховский ежедневно посещал меня, во время моей болезни, стараясь передавать мне свои мысли и приглашая вступить в тайное общество, о существовании коего он открыл мне в марте месяце». В другом показании Сутгоф писал: «я поступил в тайное общество в сентябре 1825 года. Принят был Каховским, который уверил меня, что цель общества есть благо общее. Веря словам Каховского, я также начал содействовать к благу общему». Г. А. I. В. № 344. Дело Сутгофа.

22. О принадлежности Палицына к обществу Каховский 17 февраля показал: «когда именно прапорщик Палицын принят мной в члены тайного общества, я не помню; знаю, что за несколько месяцев до 14 декабря. О деле общества и о намерениях оного он знал все то, что знали и все прочие члены. Обязанности особенной на него никакой не было возложено; обещание дал он, как и каждый из членов, способствовать к успеху цели общества». (Г. А. I. В № 86, л. 11). Палицын настаивал на том, что он был принят в общество в начале ноября, хотя не отрицал того, что в апреле или марте он слышал от Каховского фразу: «есть люди, которые на тебя обращают внимание». Но Палицын тогда не придал значения этой фразе. (В том же деле).

23. Панов показывал: «я был принят в тайное общество в моей квартире, состоящей в л.-гренад. казармах, г. Каховским, около месяца до 14 декабря... Цель, известная мне, благо общее» Г. А. I. В. № 343.

24. В чистосердечном признании Кожевников рассказывал следующее: «я сделался сообщником мятежников в начале прошедшего ноября месяца; быв однажды вместе с поручиком Сутгофом и отст. поруч. Каховским, долго рассуждали о нашем правительстве; и сей последний, исполненный красноречия, убедительно доказывал, сколь велико благо народа вольного, сколь приятно быть виновником общего счастия и сколь унизительно не стремиться к пользе отечества!» После таких речей Кожевников был принят в общество. Г. А. I. В. № 53.

25. Жеребцову удалось избегнуть всякого наказания. Он показал, что вместе с государевой ротой л.-гренадерского полка пришел на Дворцовую площадь, и что Сутгоф, действительно, открыл ему о своих намерениях, но он, не входя в его виды, обозвал все пустой затеей. По прочтении допроса Жеребцова Николай Павлович «изволил простить» его. Г. А. I. В. № 214.

26. 23 февраля Каховский показывал о принадлежности Глебова к обществу: «от Глебова я никогда и ничего не скрывал: от меня узнал о тайном обществе, о восстании 14 декабря, но членом он не был. И вот всегдашние слова его ко мне: «я люблю отечество, счастием почту умереть для блага его; но игрушкой таинственной быть не могу; не могу войти в общество, хорошо не зная ни намерений ни сил его». Глебов, сначала отпиравшийся от всего, не допуская до очной ставки, сознался, что Каховский открыл ему об обществе, цель которого — конституция, и что за неделю до 14 декабря он слышал от Каховского, что войска не будут присягать, и нужно итти на площадь. Глебов жил вместе с Палицыным. Г. А. I. В. № 388.

27. Г. А. I. В. № 335.

28. Г. А. I. В. № 375. Дело Штейнгеля. Каховский в своем ответе на показание Штейнгеля не отрицает сущности разговора и крайности своих предложений. Его только крайне возмутило то, как мог Штейнгель отнестись серьезно к его заявлению о доносе на общество. «12 декабря я говорил не на совещании общества, а в частном разговоре с членами. Смысл слов моих был, что крови бояться не должно. Но мог ли я соглашаться резать? и кого резать? Народ, для которого мы восстали? Что я донесу на общество, было мной сказано совершенно в шутку, что тогда же мне и заметил Александр Бестужев, сказав: «ты шутишь, а другие примут за правду». Говорил я на слова Николая Бестужева и Штейнгеля, которые были одного со мной мнения, что члены общества лишь толкуют, а не распоряжаются к действию». По поводу этого факта Рылеев объяснил, что он лично не слышал подобных слов, но что Штейнгель говорил ему что-то подобное о Каховском. Николай Бестужев заявил, что он не слыхал этого разговора, а Александр Бестужев показал: «Каховский говорил всегда подобный вздор, но его мало слушали и не обращали внимания на его слова. Я сам не помню, сказал ли он точно слова сии, хотя очень верю, что они были произнесены». См. Г. А. I. В. Дела всех этих лиц.

29. Каховский приписал эту мысль Рылееву.

30. Рылеев признал, что он действительно предлагал Каховскому вечером 13 декабря убить государя, и говорил, что можно исполнить это на площади. «По утру того дня, — добавил Рылеев, — долго обдумывая план нашего предприятия, я находил множество неудобств, к счастливому окончанию оного. Более всего страшился я, если государь не будет схвачен нами, думая, что в таком случае непременно последует междуусобная война. Тут

пришло мне на ум, что для избежания междуусобия должно его принести на жертву, и эта мысль была причиной моего злодейского предложения». Пущин дал уклончивое показание: «но если показанные лица показывают изъясненное в сем пункте обстоятельство, которого я истинно не припомню, то я оное утверждаю; только не могу достоверно сказать, дал ли Каховский решительное обещание»... А. Бестужев признал, что, входя к Рылееву, он встретил несколько членов, которые прощались с Каховским, и Рылеев сообщил ему, что Каховский назначается для нанесения удара.

31. Нужно принять во внимание основную тенденцию показаний А. Бестужева. Он рассказывал судьям, что он, не разделяя ни взглядов ни целей общества и не выходя из него наружно, своими действиями старался расстроить его, привести к естественному концу: так, например, в этом случае он искусно отклонил попытку на цареубийство.

32. Об этом посещении Каховский показывал, что он, угнетенный предложением Рылеева, сказал о нем Панову, не открывая ему сущности. Но Панов на допросе не припомнил этого обстоятельства.

33. Воспоминания А. П. Беляева. «Русск. Стар.» т. XXX. 1881 г., март, стр. 496.

34. Общ. движ. в первую половину XIX века. Том I. Изд. М. В. Пирожкова. Спб. 1905. Стр. 441.

35. Свидетельство самого Сутгофа на полях книги Корфа. См. «Былое». Апрель, 1907 г. Стр. 168.

36. Так показывал 1 мая кн. Одоевский. Правда, Каховский решительно отрицал истину этого показания, но ведь он в это время запирался даже в самом факте нанесения ран Стюрлеру.

37. «Исторический Вестник», 1905, янв., стр. 169—170.

38. Правда, в своем показании Штейнгель заявляет, что, взяв кинжал на память, он положил его тихонько на стол, но сейчас же услышал выразительные слова Каховского: «Так вы не хотите взять кинжал мой?» На эти слова Штейнгель отвечал: «Нет, возьму!» пожал руку Каховского и ушел, поцеловав его в щеку. Каховский решительно отрицает этот эпизод: нужно думать, что Штейнгель просто изобрел его, чтобы как-нибудь реабилитировать себя в таком непохвальном деянии, как восхваление убийства.

39. Записки Греча, стр. 386.

40. «Воспоминания декабриста» А. С. Гангеблова. М. 1888. Стр. 68—73, 119, 120.

41. Г. А. I. В. № 82. Дело Ф. Н. Глинки.

42. «Записки декабриста» (Розена). Лейпц. 1870 г., стр. 109.

43. «Обществ. движение в России в первую половину XIX в.». Составили В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев. Том I. Спб. 1905 Стр. 414.

44. Ibid., стр. 449.

45. «Записки Басаргина». М. 1872. Стр. 35.

46. «Из записок декабриста Н. И. Лорера». Русск. Богатство, 1904. март, 88—89.

47. «Записки И. Д. Якушкина». М. 1905. Стр. 84.

48. К этому свидетельству Н. И. Греча (Записки о моей жизни. Спб. 1886, стр. 382) можно отнестись с доверием в виду характера поведения Трубецкого и в день 14 декабря и затем во время следствия. Но главное подтверждение этому факту находим в записке вел. кн. Михаила Павловича (рук.): «Когда вел. кн. вошел к государю, была уже поздняя ночь, и здесь представилось ему неожиданное зрелище: перед государем стоял и в ту минуту упадал на колени, моля о своей жизни, известный кн. Трубецкой...

49. Г. А. I. В. № 334. Дело К. Ф. Рылеева.

50. «Записки декабриста Д. И. Завалишина». Мюнхен. 1904. Т. II. Стр. 28.

51. Госуд. Арх. I. В. № 334.

52. Сочинения К. Ф. Рылеева, изд. под ред. М. Н. Мазаева. Спб. 1893. Стр. 165.

53. Г. А. I. В. № 355. Дело кн. Оболенского. Целиком письмо напечатано в нашей книге: «А. С. Грибоедов и декабристы». Спб. 1905. Стр. 22, 23.

54. Обе записки в деле. № 465. Г. А. I. В. См. также в приложении.

55. Г. А. I. В. № 35, л. 1.

56. Каховский просил несколько часов свободы для того, чтобы разыскать слугу Рылеева и от него узнать, кто именно был послан на юг. Каховский делал это сознательно, не желая дальнейшего кровопролития в случае восстания на юге. В архиве крепости сохранилась записка ген.-ад. Левашева: «Государь император просьбе г. Каховского удовлетворить не может, а токмо позволяет ему родственникам его писать, коего письма присылать сюда. 20 дек. 1825 г.». В крепостном же списке всех, кому разрешена переписка, Каховский помечен, как арестант, не пользующийся правом переписки.

57. Г. А. I. В. № 11, л. 21.

58. Г. А. I. В. № 209, л. 2 и № 293, л. 335 и 336.

59. «Записки декабриста Завалишина». Мюнхен. 1905. Т. I, стр. 355. Ко всем остальным сообщениям Завалишина о Каховском в этом и других местах «Записок» должно относиться с полнейшим недоверием. То, что он передает о признании Каховского перед царем в убийстве Милорадовича, просто вздорно.

60. То обстоятельство, что Сперанский был приглашен Николаем I к ближайшему участию в суде над декабристами, объясняется не столько тем, что у Николая I было немного людей, которые могли бы справиться с таким сложным делом, сколько своеобразным стремлением отмстить Сперанскому за его либерализм. Декабристы намечали, в случае успеха восстания, Сперанского одним из членов временного правительства. Комиссии было вменено в особенную задачу тщательно расследовать вопрос о прикосновенности Сперанского и некоторых других высоких сановников. Расследование не дало возможности установить никакой фактической связи, но выяснило некоторое совпадение и близость идейных стремлений Сперанского и декабристов. Не без злорадного чувства, надо полагать, Николай поручал Сперанскому судить и распределять наказание — от ссылки до казни — декабристов, среди которых у Сперанского были и личные знакомые. Хотя, по словам дочери, Сперанский волновался и плакал по ночам во время процесса, все-таки он перемогся и довел дело до конца. Приглашая Сперанского к этой работе, Николай I имел долгий разговор со Сперанским. Память о нем сохранилась в следующей нами впервые оглашаемой записочке Николая I к Дибичу. По окончании действий Комитета, Дибич 1 июня 1826 года представил заготовленные проекты об учреждении суда с следующим рапортом: «Имею счастие представить Вашему Величеству проекты отношений министру юстиции и графу Толстому» Николай I ответил: «*C'est parfaitement bien. J'ai eu une longue conversation avec Speransky. Elle s'est passé d'une manière fort calme et amicale и он принес повинную*».

61. Н. К. Шильдер. Имп. Николай I. Т. I. Спб. 1903. Стр. 443.

62. Приводимые нами (впервые) документальные данные об отношении Николая I к казни декабристов рисуют в настоящем свете его роль и опровергают столь обильно распущенные А. О. Смирновой и людьми придворного круга россказни о его милосердии, о его возмущении применением петли к офицерам, о том, что он не знал, что Рылеев — поэт, а знай это, то он простил бы его и т. д. Это все рассказывает известная А. О. Смирнова